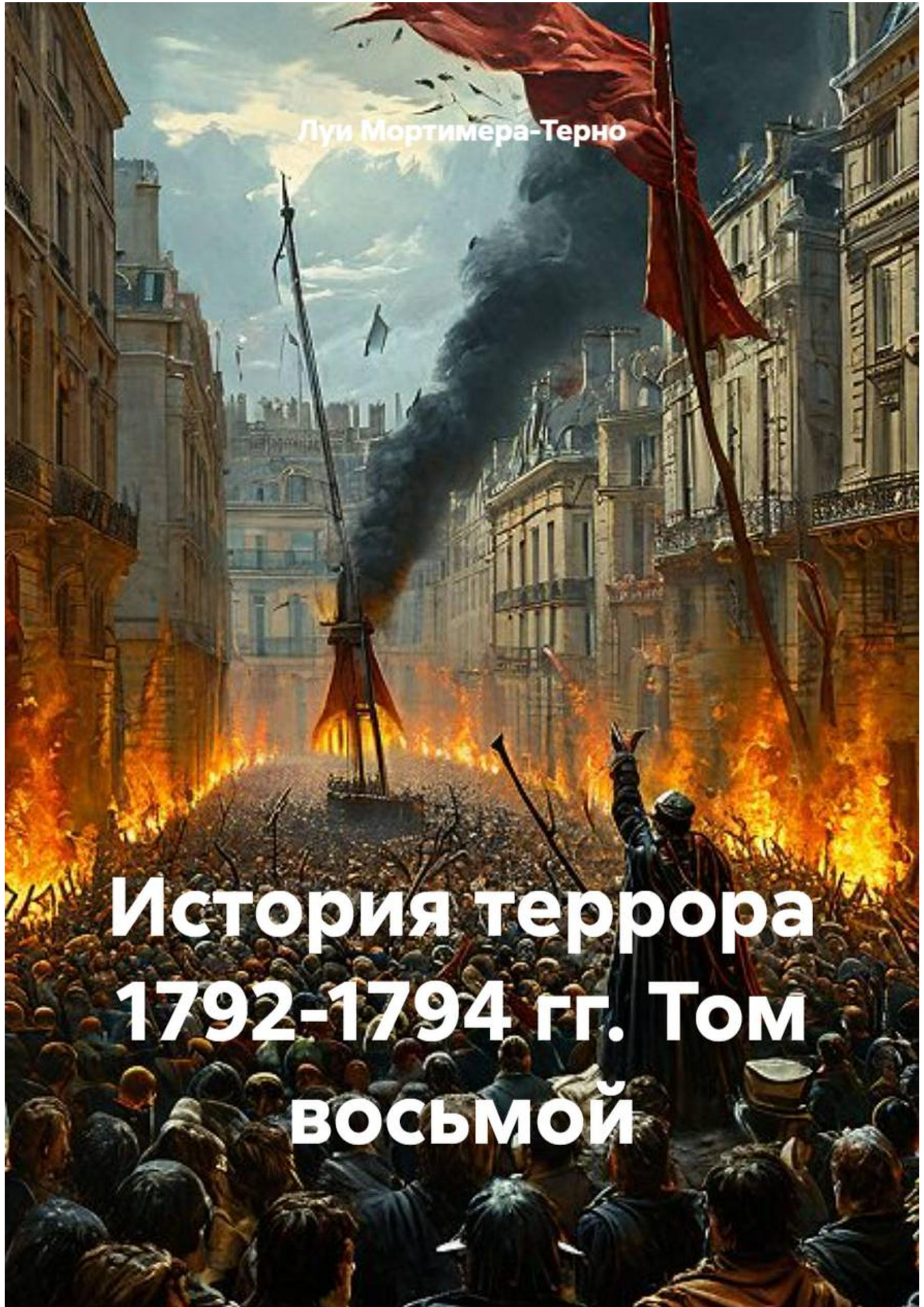




Луи Мортимера-Терно

# История террора 1792-1794 гг. Том восьмой

Франция 1792 - 1794

Луи Мортимера-Терно

**История террора  
1792-1794 гг. Том восьмой**

«Автор»

2026

## **Мортимера-Терно Л.**

История террора 1792-1794 гг. Том восьмой / Л. Мортимера-Терно — «Автор», 2026 — (Франция 1792 - 1794)

Эта книга — восьмой, заключительный том классического труда французского историка Луи Мортимера-Терно, посвящённого эпохе Террора 1792–1794 годов. На основе архивных документов автор исследует установление системы революционного насилия: государственный переворот 2 июня 1793 года, подавление сопротивления департаментов, процесс Шарлотты Корде, расправы над генералами, закон о подозрительных и превращение Революционного трибунала в орудие массовых репрессий. В приложениях — уникальные материалы: допросы, переписка, постановления комитетов. Книга сочетает строгую документальность с глубоким анализом природы революционной диктатуры и остаётся одним из важнейших исследований Французской революции.

© Мортимера-Терно Л., 2026

© Автор, 2026

## Содержание

|                                             |    |
|---------------------------------------------|----|
| ПРЕДИСЛОВИЕ                                 | 5  |
| КНИГА XLI. — КОНВЕНТ ПОСЛЕ 2 ИЮНЯ.          | 9  |
| Примечания:                                 | 26 |
| КНИГА XLII. — МОНТАНЬЯРСКАЯ КОНСТИТУЦИЯ.    | 31 |
| Примечания:                                 | 47 |
| КНИГА XLIII. — СОПРОТИВЛЕНИЕ ДЕПАРТАМЕНТОВ. | 50 |
| Примечания:                                 | 62 |
| Конец ознакомительного фрагмента.           | 65 |

# Луи Мортимера-Терно

## История террора 1792-1794 гг. Том восьмой

### ПРЕДИСЛОВИЕ

Предлагаемая вниманию читателя книга — восьмой, заключительный том капитального труда Луи Мортимера-Терно «История Террора 1792–1794», составленного по подлинным документам. Появление этого тома имеет свою, во многом драматическую историю, о которой необходимо сказать несколько слов, прежде чем читатель приступит к изучению самого текста.

Луи Мортимер-Терно принадлежал к тому поколению французских историков и политических деятелей XIX века, которое соединяло в себе два, казалось бы, трудно совместимых призвания: государственного человека и кабинетного учёного. Член Института, депутат, а впоследствии и министр, он значительную часть жизни посвятил изучению самого трагического периода Французской революции — эпохи Террора. Его труд, первые тома которого начали выходить в 1862 году, стал одним из самых значительных явлений во французской историографии революции. Мортимер-Терно поставил перед собой цель, которая по тем временам казалась почти дерзкой: доказать, что Террор не был лишь кратковременным взрывом народного гнева или неизбежной реакцией на внешнюю угрозу, а представлял собой продуманную и последовательно выстроенную систему государственного насилия, корни которой уходили в события, предшествовавшие падению монархии.

Когда в 1862 году вышел первый том его сочинения, сама постановка вопроса была воспринята как вызов. Господствовавшая тогда романтическая и либеральная историография, унаследовавшая традиции Минье, Тьера, Ламартина, а позднее Мишле, склонна была либо оправдывать Террор как «необходимую крайность», либо, напротив, изображать его как стихийное бедствие, в котором трудно выделить личную ответственность. Мортимер-Терно избрал иной путь. Он обратился к документам — протоколам Комитета общественного спасения и Комитета общей безопасности, переписке представителей в миссиях, полицейским донесениям, судебным делам Революционного трибунала, — и на их основании показал, каким образом насилие становилось инструментом повседневного управления, а террор — нормой политической жизни.

Метод Мортимера-Терно отличался строгостью и сдержанностью. Он не был ни моралистом-проповедником, ни романтическим обличителем. Его оружием были факты, извлечённые из архивов, тщательно проверенные и сопоставленные. Уже в первых томах, особенно в рассказе о сентябрьских убийствах 1792 года, ему удалось с такой убедительностью восстановить цепь событий и ответственность их организаторов, что дальнейшие споры о «стихийности» этих расправ сделались во многом беспредметными. Историк, по его собственному выражению, «схватил их ноги в крови и руку в мешке» — выражение жёсткое, но точно передающее существо его подхода: Террор был не хаосом, а системой, у которой были свои организаторы, свои исполнители и свои выгодоприобретатели.

Настоящий восьмой том охватывает период от государственного переворота 2 июня 1793 года, устранившего жирондистов из Конвента, до установления полностью функционировавшего революционного правительства, опиравшегося на реорганизованный Комитет общественного спасения, Комитет общей безопасности, Революционный трибунал и сеть революционных комитетов. Это время, когда Террор из политического средства превращается в государственную доктрину, когда «поставить террор в порядок дня» становится официальной формулой, произнесённой с трибуны Конвента, а закон о подозрительных — юридическим основанием для произвольных арестов десятков тысяч людей.

Структура тома отражает широту замысла автора. Он последовательно рассматривает судьбу Конвента после 2 июня, показывает двусмысленность положения победителей-монтаньяров, вынужденных считаться с требованиями Коммуны и уличных радикалов; анализирует монтаньярскую конституцию, которая была торжественно провозглашена, но так и не вступила в силу; прослеживает волну сопротивления в департаментах — от Нормандии до Марселя, Бордо, Лиона и Тулона; посвящает отдельные главы Шарлотте Корде и её посмертному культу, а также подавлению провинциальных восстаний. Большое место занимает анализ отношений Комитета общественного спасения с генералами — Кюстином, Бироном, Ушаром, Брюне, — чьи судьбы стали наглядной иллюстрацией того, как революционная власть уничтожала собственных военачальников. Завершается том исследованием организации самого Террора: революционной армии, закона о подозрительных, реорганизации Революционного трибунала и его превращения в орудие массовых осуждений.

Особую ценность тому придают обширные документальные приложения, составленные Мортимером-Терно на основании архивных разысканий. Они включают протоколы допросов, переписку генералов и представителей в миссиях, постановления комитетов, полицейские отчёты. Многие из этих документов были впервые введены в научный оборот именно автором. В настоящем издании приложения воспроизведены в полном виде, а таблицы и списки, затрудняющие восприятие в электронном формате, заменены подробными описаниями, сохраняющими всю фактическую информацию.

Следует сказать и о судьбе самого тома. Мортимер-Терно не успел его завершить. Восемь глав, из которых он должен был состоять, находились в разной степени готовности: первые четыре были практически закончены, тогда как остальные существовали лишь в виде черновиков и подготовительных материалов. Смерть историка, последовавшая во время работы, оставила книгу незавершённой. Издание осуществил его друг и литературный душеприказчик барон де Лейр, взявший на себя труд свести воедино готовые фрагменты и доработать недостающие разделы. В своём «Предупреждении» де Лейр скромно замечает, что старался «верно исполнить роль наследника», однако для всякого внимательного читателя очевидно, сколь значительна была эта работа.

Есть и ещё одно обстоятельство, о котором нельзя умолчать в предисловии. Последние годы жизни Мортимера-Терно совпали с событиями, которые придали его историческим штудиям неожиданную современную остроту. В 1870–1871 годах, во время франко-прусской войны и Парижской коммуны, он, уже тяжело больной, не покинул Францию и с тревогой наблюдал, как вновь оживают знакомые ему по документам приёмы революционной демагогии. Став депутатом Национального собрания от департамента Арденны, он в 1871 году выступил с открытым разоблачением попыток правительства вступить в тайные переговоры с Коммуной. Его предостережения тогда сочли преувеличением, однако два года спустя факт переговоров был официально подтверждён теми самыми лицами, которые первоначально всё отрицали. Эта прозорливость Мортимера-Терно — прямое следствие его исторического метода: он слишком хорошо изучил логику революционного насилия и знал, чем заканчиваются сделки с теми, кто сделал террор своей профессией.

Для российского читателя настоящая книга представляет интерес не только как образец классической французской историографии XIX века, но и как материал для размышлений о судьбах революций вообще. Мортимер-Терно не был противником республики как таковой; напротив, он искренне верил в идеалы 1789 года. Тем беспощаднее его вывод о Терроре: революция, по его убеждению, пожирала не только своих врагов, но и собственных детей, а насилие, возведённое в принцип управления, рано или поздно оборачивается против тех, кто его установил. Эта мысль, подкреплённая сотнями документов, проходит через всю книгу и придаёт ей значение, далеко выходящее за рамки исторического повествования о событиях двухвековой давности.

Издатель надеется, что восьмой том «Истории Террора» будет встречен читателем с тем же интересом, с каким были приняты предыдущие, и что, несмотря на свою незавершённость, он достойно увенчает труд, которому Луи Мортимер-Терно посвятил жизнь.

### **ПРЕДУВЕДОМЛЕНИЕ.**

Связав эксцессы 1793 года с беспорядками, предшествовавшими низвержению монархии, г-н Мортимер Терно открыл новый путь в исследованиях Французской революции. Когда в 1862 году появился первый том его труда, эта попытка казалась дерзкой, и мы до сих пор помним критические замечания, вызванные обобщающим характером заглавия, избранного автором. После представленных доказательств, особенно после рассказа о массовых убийствах, организованных в парижских тюрьмах 2 сентября 1792 года, сомневаться более не приходилось, и ответственность тех, кого добросовестный историк застал по щиколотку в крови и с рукой в мешке, оказалась окончательно закреплённой перед потомством. Когда пример был подан, другие писатели в свою очередь подхватили идею, составившую успех труда г-на Мортимера Терно, и обратились к провинции за подтверждением преступлений, совершённых в Париже. Успех был тем же, и справедливо будет признать заслугу за тем, чья инициатива сумела указать путь, которому следовало идти.

В то время как г-н Мортимер Терно столь полезным для страны образом использовал досуг, предоставленный ему политикой, готовилось иностранное вторжение. Он пожелал лично пострадать от него и, вместо того чтобы бежать, ожидал его твёрдо на своей земле в департаменте Эр и Луар, неподалёку от героического города Шатоде́н, посреди края, опустошённого немецкой оккупацией. Именно туда жители Арденн, которых он долго представлял, пришли за ним, чтобы отправить его в Национальное собрание, хотя он этого не желал и не предпринимал ни малейших шагов. Его силы, подточенные многолетней медленной болезнью, казалось, властно предписывали ему покой. Однако он согласился, справедливо полагая, что в столь серьёзных обстоятельствах никто не вправе отказать отечеству в своём содействии.

Когда г-н Мортимер Терно прибыл в Палату, трудности всякого рода требовали скорейшего разрешения. Никогда ещё более тяжкая ответственность не лежала на членах суверенного собрания. Нужно было одновременно заключить с иностранным государством обременительный мир, восстановить порядок внутри страны, воссоздать армию, перестроить финансы, примирить самые противоположные интересы. По всем этим вопросам г-н Мортимер Терно показал себя достойным своего парламентского прошлого; особенно великое мужество он проявил, открыто атаковав революционеров, которых его перо так часто разоблачало. Одной из самых серьёзных трудностей того времени было господство Коммуны в Париже. Вместо того чтобы сокрушить её силой, говорили о переговорах с ней, и само правительство, казалось, было готово способствовать тайным сделкам. С двойной компетенцией политика и историка г-н Мортимер Терно разгадал интригу и без колебаний разоблачил её. Порвав давние связи, он поднялся на трибуну[1], чтобы указать на опасность подобных компромиссов и добиться официального опровержения. Этого опровержения получить не удалось, и многие, как и при выходе первого тома «Истории Террора», кричали о преувеличении. Два года спустя разоблачённая сделка была формально признана тем самым лицом, которое первоначально её отрицало, и сегодня мы присутствуем при реабилитации учений и злодеяний, казалось бы, навсегда осуждённых.

Среди этих бурь г-н Мортимер Терно продолжал свои исторические труды; но силы его иссякали; он держался лишь невероятным напряжением воли, и смерть поразила его стоя, прежде чем был завершён том, который мы издаём из уважения к его памяти.

Был и другой мотив, побудивший нас к этой публикации.

Г-н Мортимер Терно хотел доказать, что Террор начался задолго до эпохи, обычно принимаемой за открытие революционной эры. Для этого доказательства потребовалось не менее семи томов, но оно было завершено, когда перо выпало из рук историка. Он и сам это чув-

ствовал, и сколько раз я слышал от него, что дело, которому он посвятил жизнь, исполнено и что, продолжая его дальше, он рискует натолкнуться на факты слишком общеизвестные, чтобы привести к новым откровениям.

Скромность г-на Мортимера Терно, несомненно, обманывала его. Ничто из того, о чём он рассказывал, не было сокрыто, но очень немногие до него соглашались серьёзно обращаться к источникам, и из-за недостаточности изысканий подлинный характер важных событий ускользал от его предшественников. В этой неисчерпаемой сокровищнице Революции, к какой бы эпохе ни обратиться, ещё предстоит сделать немало открытий, и мы не сомневаемся, что с его исключительной проницательностью и настойчивостью историк Террора создал бы вторую часть, достойную первой.

В той точке, до которой г-н Мортимер Терно довёл свой труд, оставалось лишь сделать выводы из революционных актов, признаваемых таковыми всеми, и дать предчувствовать кровавые ужасы, которые должны были из них проистечь. Это мы и попытались сделать. Из восьми глав, содержащихся в издаваемом нами томе, первые четыре были оставлены г-ном Мортимером Терно в почти полностью завершённом состоянии. Читатель рассудит, верно ли мы исполнили роль наследника, приняв его преемство и обработав материалы, собранные для четырёх последних.

Барон де Лейр.

15 декабря 1880 года.

[1] Заседание 11 мая 1871 года.

## КНИГА XLI. — КОНВЕНТ ПОСЛЕ 2 ИЮНЯ.

I. Затруднения монтаньяров на следующий день после их победы. — II. Письмо Верньо с обличением виновников государственного переворота. — III. Колебания Комитета общественного спасения перед требованиями Коммуны. — IV. Робеспьер и Дантон противятся роспуску наблюдательных комитетов и отправке заложников в департаменты, чьё представительство было урезано. — V. Анрио назначен командующим парижской национальной гвардией. — VI. Поступление первых протестов из департаментов. — VII. Вернье тщетно требует внесения доклада об обвинениях, выдвинутых против арестованных депутатов. — VIII. Голосование о благодарности Коммуне за её участие в событиях 31 мая, 1 и 2 июня.

### I

Нельзя безнаказанно поднимать руку на национальный суверенитет, и после того как мы стали свидетелями демагогического государственного переворота 2 июня, нам предстоит тотчас же убедиться в его неизбежных и гибельных последствиях. По любопытному явлению, из которого все революции извлекли спасительный урок, первыми, кто сожалеет о насильственных действиях, оказываются именно те, кто в своём ослеплении их подготовил. Конвенту не суждено было избежать этого закона природы. Вскоре мы увидим, как даже в рядах Горы немало представителей сочтут слишком тяжким ярмо своих союзников из Коммуны, а сам Комитет общественного спасения, несмотря на свой внешний триумф, будет с каждым днём всё острее ощущать раны, нанесённые его самолюбию откровенно заявляемыми притязаниями диктаторов из ратуши. В то же время с рядов Равнины и из остатков правой на каждом заседании будут раздаваться мужественные голоса, протестующие против унижения этого несчастного Собрания — властелина Франции и раба в Париже. Особенно красноречивые протесты раздаются со стороны жирондистов, и среди тех, кого победители в первом опьянении триумфа на время оставили на свободе, Дюко, Фонфред, Кондорсе, Грегуар, Понтекулан выделяются благородной смелостью сопротивления, за которую троим первым суждено заплатить головой. Протесты бессильные, но история должна тщательно их сохранить, ибо это последние содрогания партии, которая умирает и, умирая, отказывается даровать своим противникам амнистию молчания.

3 июня зал заседаний, почти пустынный, являет мрачный вид мест, опустошённых бурей. Сквозь всеобщее оцепенение едва слышны ослабленные отголоски вчерашней драмы. Четверо опальных депутатов — Ланжюине, Верньо, Виже и Барбару — написали в Конвент с просьбой, чтобы Комитет общественного спасения незамедлительно подготовил свой доклад по обвинениям, выдвинутым против них. Письмо Ланжюине отражает то сочетание твёрдости и иронии, которое составляло основу характера неустрашимого бретонца: «Я буду бороться, — говорит он, — с мужеством невинности и добродетели против моих клеветников. Вы вчера уступили необходимости; я благодарю вас за то, что вашей уступчивостью вы, быть может, предотвратили ещё большие злодеяния». Письмо Верньо проникнуто гордым и печальным достоинством; он так объясняет своё вчерашнее отсутствие: «Я знал, что граждане с трибун овладели проходами Конвента и останавливали депутатов, чьи имена значились в проскрипционном списке, составленном Парижской коммуной. Готовый повиноваться закону, я не счёл нужным подвергать себя насилиям, которые закон осуждает. Сегодня ночью я узнал, что декрет подвергает меня домашнему аресту; я ему подчиняюсь».

После писем опальных следует письмо гонителя. По своему обыкновению, Марат притязает на монополию патриотизма и гражданских добродетелей; он упрекает Конвент в том, что в декрете от 2 июня тот пощадил лиц, обвинённых Коммуной; предоставив им славу самим про-

силь о приостановлении своих полномочий и подать тем самым пример великодушной преданности общественному благу, их, по его словам, сделали интересными в глазах нации, — честь, которая должна быть сохранена за теми непорочными людьми, что без остатка посвятили себя защите свободы, чьи сердца всегда горели священной любовью к отечеству... «Быть может, мне, вечному мученику свободы, мне, слишком давно терзаемому клеветой, позволительно ревновать к этим почестям. Поэтому я отверг проект декрета вашего Комитета; я потребовал ареста лиц, обвинённых конституционными властями Парижа, и предложил свою собственную приостановку полномочий на определённый срок. Стремясь поскорее открыть глаза нации, введённой в заблуждение на мой счёт столькими наёмными пасквилянтами, не желая более, чтобы на меня смотрели как на яблоко раздора, и готовый пожертвовать всем ради возвращения мира, я отказываюсь от исполнения моих депутатских обязанностей вплоть до суда над обвинёнными представителями».

Это заявление вызывает громкие возгласы приверженцев Друга народа:

«Долг Марата — быть на своём посту, — восклицает Тюрио.

— Ни один депутат, — добавляет Шарлье, — не может приостановить свои полномочия, ибо никто не вправе идти на сделку со своим долгом... Предложение Марата доказывает, что он вовсе не был главарём разбойничьей шайки, но что существовала другая, поистине губительная для свободы шайка, с которой мы тщетно боролись восемь месяцев и которую народ наконец задушил.

— Да, — подхватывает Шаль, — Марата изображали как чудовище, которым хотели напугать департаменты; его рисовали им как человека крови и грабежа, чтобы отвратить их от города, принявшего его принципы. Департаменты разуверятся, когда увидят, что он сам слагает с себя полномочия, дабы не внушать им более опасений».

Робеспьер, которого раздражают эти почести, расточаемые Другу народа, хочет прервать обсуждение и требует предварительного вопроса; он обосновывает это так: «Слишком долго мы занимаемся отдельными лицами; пора наконец говорить о делах. Представители французской нации должны исполнять свой долг или подать в отставку... Случай приостановки полномочий законом не предусмотрен»[1].

Конвент не принимает предложения Робеспьера; он переходит просто-напросто к порядку дня, что оставляет Марату свободу сохранить или взять назад своё великодушное предложение.

Затем вводят депутацию Центрального революционного комитета. Оратор выражается так:

«Законодатели, опыт только что показал вам поистине возвышенным образом, что рано или поздно справедливость берёт своё. Поразительная революция, совершившаяся на ваших глазах, — великий урок для тех, кто пойдёт после вас по поприщу законодательства. Вы видели, как народ Парижа поднялся весь целиком, весь целиком воспротивился угнетению и потребовал у вас справедливости к тем, чьё присутствие вредило вашим трудам и кому он справедливо приписывает все бедствия Республики.

Трижды оскорблённый, поруганный народ брался за оружие. Он дал нескольким своим согражданам право воспользоваться его властью. Они сделали это, чтобы избавить его от предателей, которые его разделяли. Набат звонил, пушки тревоги гремели — не для того, чтобы возвестить пролитие крови, но чтобы возвестить опасности, угрожающие свободе, и смертельные удары, которые ей наносили. Народу, чтобы победить, достаточно было лишь показаться. Призрак раздора, ещё вчера вызванный от одного конца Франции до другого, вынужден отступить. Цепь братства свяжет Париж с департаментами, и ничто более не сможет помешать законодателям завершить труд республиканской конституции».

Депутации оказывают почести заседания, и она проходит через зал под рукоплескания трибун.

Монтаньяры, отныне уверенные в своём торжестве, хотят упрочить его, захватив все позиции; уже на этом первом заседании они добиваются решения о том, что все комитеты Конвента, кроме Комитета общественного спасения, будут немедленно обновлены и пополнены.

## II

В последующие дни в Собрании ещё раздаются отдельные протесты в пользу опальных; но они разбиваются о равнодушие центра и ропот левой. 4 июня читают протокол заседания от 2-го. Грегуар требует, чтобы в нём были засвидетельствованы оскорбления и насилия, совершённые над Конвентом: «Этим церковникам лишь бы повсюду разжечь огонь!» — восклицает Тюрио. Дюран-Майан, составитель протокола, робко замечает, что его отчёт представляет совокупность фактов так, чтобы ясно показать, в каких условиях Собрание принимало решения.

«Всем известно, — грубо отвечает Бурдон (из Уазы), — что Конвент был вынужден спасать Республику; всем известно, что он избавился от кучи интриганов, которые хотели его погубить».

Собрание, послушное внушениям этих двух демагогов и спешащее покончить раз и навсегда с жалобами и взаимными упрёками, постановляет, что всякая петиция, всякий адрес, относящийся к событиям 2 июня, будет отсылаться без оглашения в Комитет общественного спасения.

На следующий день Фонфред, которого великодушие Марата соблаговолило пощадить и который продолжал заседать на опустевших скамьях правой, требует исполнения декрета, обязывающего Комитет общественного спасения в трёхдневный срок представить доклад об арестованных представителях. «Уже четвёртый день, — говорит он, — а доклада нет. Это ещё не всё. Документы, о которых у решётки Конвента объявили Люилье и Ассенфрац, не переданы Коммуной. Между тем терять время нельзя: если арест муниципальных должностных лиц вызвал в Париже нечто вроде восстания, разве не следует опасаться, что арест народных представителей вызовет настоящее восстание во всей Республике? Подумайте: здесь был бы законен закон талиона; если вооружённые люди пришли истребовать декрет об аресте, то разве другие, также вооружённые граждане, пользуясь тем же правом, не могут прийти требовать немедленной отмены этого декрета?»

Левая возмущается этими словами. «Вот доказательство, — говорит Шабо, — что существует заговор с целью разжечь гражданскую войну из ненависти к тем, кого называют возмутителями с Горы; но раз мы достигли мира простой мерой ареста, мы докажем нашим врагам, что не хотим их голов».

«Так потребуйте же её», — отвечает Фонфред. «Я настаиваю на докладе Комитета общественного спасения, ибо я не признаю здесь Конвента, пока члены, насильно вырванные из среды этого собрания, в него не вернутся».

Неизбежный переход к порядку дня кладёт конец этому энергичному протесту.

6-го обсуждение возобновляется по поводу второго письма Верньо. Гора прерывает его чтение, ссылаясь на декрет от 4-го, отсылающий в Комитет общественного спасения все документы, касающиеся задержанных депутатов. «Но такого декрета не существует! — восклицает Дульсе. — Принятый декрет касается только петиций. Комитет общественного спасения оказался в затруднении; он обратился в Коммуну, чтобы получить вещественные доказательства. Эти документы не были предоставлены. Поэтому я требую, чтобы письмо Верньо было прочитано полностью и чтобы Комитет общественного спасения был обязан завтра к полудню представить доклад — и об обвинённых, и об обвинителях».

Тюрио, по своему обыкновению становясь негласным защитником Коммуны, отвечает Дульсе: «Торопить доклад — значит желать спасти виновных, ибо единственной его основой являются как раз те документы, которые Комитет ещё не смог раздобыть. Он всё ещё ждёт бумаг Комиссии двенадцати, не говоря о других документах, которые не успел рассмотреть».

Вот, например, только что перехвачено письмо, отправленное из Марселя Барбару, в котором раскрываются ужаснейшие замыслы. В этом городе действует кровавый трибунал, который произвольно бросает в тюрьмы друзей Революции, который не судит, а убивает патриотов. События в Лионе носят тот же характер, что и в Марселе. Поэтому я требую положиться на мудрость Комитета общественного спасения. Ему нужно дать время собрать всю губительную для свободы переписку обвинённых представителей с их департаментами. К тому же, если бы вы каждый день читали с этой трибуны письма тридцати двух задержанных депутатов, вы потеряли бы все свои заседания, а они, после того как семь месяцев развлекали вас спорами и декламациями, стали бы вновь осаждать вас непрерывными жалобами, отвлекая от трудов».

Как бы низко ни пал Конвент, он всё же не мог рукоплескать такому цинизму. После первого голосования, признанного сомнительным, решено дочитать письмо Верньо до конца.

«Если я виновен, — говорил в заключение депутат от Жиронды, — я предлагаю свою голову в искупление тех измен, в которых буду изобличён; но если мои обвинители не представят никаких доказательств своего обвинения, то я, в свою очередь, требую, чтобы они взойшли на эшафот:

за то, что подвергли Конвент осаде вооружённой силой, которая, не зная причин этого движения, едва не совершила по избытку усердия контрреволюцию;

за то, что поставили во главе этой вооружённой силы командующего, который своими приказами нарушил свободу Собрания;

за то, что насилием добились ареста или разгона значительного числа народных представителей;

за то, что страшным толчком, данным народу Парижа, бросили в департаменты семена пагубнейших раздоров и факелы гражданской войны;

наконец, за то, что удержали в Париже батальоны, которые должны были отправиться в Вандею».

На эту энергичную обвинительную речь Гора вновь даёт волю своему гневу. Правая, скамьи которой впервые после 2 июня стали немного более заполненными, робко просит напечатать письмо и включить его в «Бюллетень». Брань левой встречает это предложение:

«Так значит, эти письма для того и присылают сюда, чтобы их помещали в газетах!» — говорит Лежандр.

«Это для разжигания гражданской войны», — добавляет Тюрио.

Переход к порядку дня ставится на голосование и принимается. Тотчас же многие члены правой поднимаются и покидают зал. Бурдон (из Уазы) указывает на них пальцем, восклицая: «Эти господа, как видите, явились сюда лишь для того, чтобы внести смуту в Собрание; они удаляются как раз в тот момент, когда вы приступаете к обсуждению полезных законов. Я требую, чтобы их поведение было занесено в протокол».

### III

Дульсе говорил правду: Комитет общественного спасения не смог добиться ни от Коммуны, ни от Центрального революционного комитета никаких вещественных доказательств против обвинённых лиц[2]; более того, на свои запросы он получал лишь издевательские ответы[3]. Раздосадованный такой наглостью, он на мгновение задумал сбросить тиранию Коммуны и вернуть Конвенту его достоинство, показав ему всю печальную униженность его положения. Попытка была деликатной. Комитет поручил составление доклада перу гибкого Барера. Тот сочинил по этому случаю произведение, которое можно считать шедевром жанра, открытого этим политическим хамелеоном. Каждая фраза в нём двусмысленна, каждое положение имеет свою противоположность. Докладчик Комитета расточает похвалы людям, подготовившим события 2 июня, и одновременно предлагает сломить власть, которую они захватили; он превозносит мужество, проявленное Конвентом в тот день, и тут же признаёт, что Конвент позволил господствовать над собой лицам без полномочий и без мандата; он мечет свои ана-

фемы равно в неистовых и в умеренных, в демагогов и в федералистов; он предаётся патриотической скорби; он оплакивает оскорбления, нанесённые национальному представительству, но оплакивает их, извиняя; он восхваляет царство законов, затем оправдывает их нарушение; наконец, прикрывшись тысячью недомолвок и показав все беды, в которых Конвент влачился с самого начала восстания, он завершает обращением к потомству, которое, дескать, без колебаний увенчает прекрасными венками гражданские добродетели, проявленные при этом народными представителями.

«Кто осмелится, — восклицает жалкий ритор, — кто осмелится уже теперь оценить последствия движения 2 июня? Кто из нас знает его тайные пружины и истинные побуждения? Скажу лишь, что неожиданные события слишком памятного дня опечалили сердца свободных людей, не обескуражив и не поколебав их... День 2 июня произвёл на некоторые умы, а может быть, и на отдалённых граждан, впечатление, последствий которого ваша твёрдость не должна страшиться, но которое ваш долг — предупредить. Там, где пылкие друзья свободы увидели лишь заблуждение силы, встревоженные граждане сочли, что видят *deliberate* покушение на права народа... Комитет общественного спасения должен был оценить события... он счёл, что пружина национального суверенитета, на миг сжатая, должна вновь обрести всю свою упругость, что порядок должен возродиться из крайности бед, что уважение, подобающее законодателю, должно утвердиться на развалинах системы унижения, которую слишком долго терпели, и что революционные комитеты должны исчезнуть, как только перестали быть полезными, как только смогли повредить гражданской свободе и посягнуть на национальный суверенитет».

Установив, что эти наблюдательные комитеты, порождённые бурей, суть не что иное, как орудия анархии и мести, существование которых конституционные власти терпели слишком долго; показав, что подлинный Революционный комитет — это само Собрание, докладчик продолжает:

«Конвенту надлежит никогда не спускаться с той высокой ступени, на которую его возвела национальная власть; вам надлежит направлять общественную силу, прилагая её не к частным прихотям или замыслам партий, а к воле нации. Чем было бы национальное собрание, которое, будучи помещено, словно священный залог, посреди одной из коммун Республики, никем не пользовалось бы повиновением, видело бы рядом с собой подчинённые власти, парализующие друг друга или парализованные движениями, которых они не знают или которые терпят? Чем было бы собрание посреди общественной силы, которой командуют неизвестные ему люди или которую оплачивает власть, неведомая законам?»

Пусть отныне законы будут сильнее оружия; пусть нация будет могущественнее одной из своих секций; пусть с этой минуты право реквизиции вооружённой силы будет в ваших руках; пусть ваша реквизиция, более властная, более полная, чем все прочие, мгновенно прекращает их действие: по этому знаку законной и верховной власти Франция узнает своих избранных.

Сохраняя все полномочия, которыми Конвент обладает в силу цели своего учреждения и своих неограниченных мандатов, вы прежде всего займётесь положением Парижа. С давних пор общественное мнение в нём колеблется в разные стороны. Мы не больше одобряем яростные крайности демагогии, чем искусные комбинации модерантизма. Нам не нужны ни системы, стремящиеся всё федерализировать, ни заговоры, стремящиеся всё подчинить муниципалитетам. И те и другие равно разрушают единство и неделимость Республики. Итак, нужно, чтобы мнение граждан высказалось свободно; нужно, чтобы те, кто составляет вооружённую силу, выбрали своего начальника, и чтобы уже завтра Париж и национальный Конвент увидели, каков тот главнокомандующий, которому просвещённое доверие граждан вверяет часть судеб этого прекрасного города, который мы все будем хранить для свободы и который стал нам ещё дороже с тех пор, как сделался предметом и средоточием мести, клеветы и заговоров».

Продолжая свои искусные противоречия, Барер громко провозглашает и принцип неприкосновенности тайны переписки, который сам же Комитет общественного спасения первым

нарушил[4], и принцип неограниченной свободы печати, который победители 2 июня применяли, сажая в тюрьмы и изгоняя всех писателей — друзей Жиронды. Затем, переходя к обвинениям, тяготеющим над арестованными представителями, он наивно признаёт, что всё это пока неопределённо, что Коммуна ещё только должна представить первый документ дела и что открытие процесса зависит от доброй воли обвинителей.

Пока же он предлагает отправить в департаменты, чьи один или несколько депутатов были поражены декретом от 2 июня, заложников, взятых из среды самого Конвента. «Эта мера, — добавляет он, — великодушна и возвышенна. Она была подсказана Дантоном, поддержана Кутоном — тем самым, который потребовал декрета об аресте двадцати двух, — и все члены Комитета готовы к ней присоединиться».

«Да, — восклицает в заключение лирический докладчик, — мы, члены Комитета общественного спасения, заявляем перед лицом рода человеческого и веков о предложении, которое только что вам сделали. Представители нации, заявите перед лицом нации и веков, что вы спасли Францию».

Этот доклад, заслуживавший большего внимания наших предшественников-историков, чем ему уделяли, сопровождался проектом декрета, который следует представить читателю[5]:

«Конвент, заслушав доклад своего Комитета общественного спасения, постановляет:

Ст. 1. Все чрезвычайные комитеты, кроме наблюдательных комитетов, учреждённых против иностранцев, и комитетов общественного спасения, временно сохранённых декретом от 5 июня, упраздняются; названные комитеты ограничиваются предметом своего учреждения.

Ст. 2. Всем конституционным и национальным административным властям воспрещается признавать какие-либо из этих комитетов, а гражданам, составляющим вооружённую силу, — им повиноваться.

Ст. 3. Когда национальный Конвент сочтёт необходимым произвести реквизицию вооружённой силы, всякая иная реквизиция прекращается, и главнокомандующий может исполнять лишь приказы, исходящие от Конвента.

Ст. 4. Во исполнение статьи 6 декрета от 14 мая секции Парижа соберутся в субботу 8-го числа сего месяца для назначения главнокомандующего национальной гвардией, а до его назначения будет действовать статья 6 декрета от 23 мая.

Затем будет произведено назначение штаба.

Ст. 5. Под страхом десяти лет кандалов не будет чиниться никаких препятствий почтовой службе внутри Республики.

Ст. 6. Сохранённые комитеты обязаны осуществлять самый строгий надзор за иностранцами и доносить на тех, кто покажется им подозрительным, административным органам, которые предпишут им покинуть территорию Республики в кратчайший срок, не превышающий восьми дней.

Административные органы будут каждые восемь дней отчитываться перед Комитетом общей безопасности об исполнении настоящей статьи и присылать список высланных подозрительных иностранцев и тех, кто останется.

Ст. 7. В каждый из департаментов, некоторые депутаты которых были подвергнуты аресту декретом от 2 июня, будет незамедлительно отправлено равное число депутатов, избранных из членов Конвента, для пребывания там в качестве заложников.

Настоящий декрет будет разослан немедленно и передан министру внутренних дел, который исполнит его без промедления».

#### IV

Несмотря на все околичности, которыми Барер обставил мысль Комитета общественного спасения, его выводы показались слишком смелыми. Они прямо затрагивали Революционный комитет и его чёрный кабинет, Анрио и его штаб, то есть творцов 2 июня, всё ещё всемогущих. Предложение отправить заложников в департаменты особенно не понравилось Горе.

Гора, которой, согласно докладу, предстояло взять на себя главные издержки этой героической жертвы, не испытывала ни малейшей склонности давать своим противникам такое доказательство великодушия, а потомству — такой пример величия души. Поэтому ни Дантон, ни Кутон, ни какой-либо иной член Комитета общественного спасения не явился, вопреки торжественным заверениям Барера, вновь внести с трибуны это предложение, достойное лучших времён Римской республики. Авторы предложения первыми признали анахронизм, в который их увлекло какое-то воспоминание о классической учёности. Как только они могли опасаться, что слишком наивное Собрание поймает их на слове, они благоразумно уклонились от опасной миссии, честь которой оставили за собой. Призыв Барера к роду человеческому остался в конечном счёте бесплодным и смешным ораторским движением.

Председатель Малларме воспользовался первым же случаем, чтобы выразить по этому поводу чувства своих коллег-монтаньяров. Только что была допущена к решётке депутация граждан Анже, отправившаяся из этого города ещё до событий 2 июня. Цель принесённой ею петиции, по-видимому, была неизвестна. Между тем эта петиция в энергичных выражениях выражала негодование, охватившее жителей Анже при известии, что некоторые секции Парижа призывают топор на головы нескольких народных представителей.

«Граждане, о которых вы говорите, — ответил Малларме, — не под топором гонителей; они под охраной законов и честности парижан. Им предлагали заложников — они отказались». Это, как видно, было одиозно-вероломным обобщением того личного ответа, который Барбару дал 2 июня на это предложение о заложниках, когда оно впервые возникло[6].

Недоброжелательство Горы стало ещё очевиднее, когда 8 июня порядок дня потребовал обсуждения проекта, представленного позавчера Барером. Правая решила его поддержать, поскольку он давал ей полуудовлетворение; поэтому Собрание было многолюднее обычного.

Огонь по проекту открыл монтаньяр Тюрио. «Многие ораторы, — замечает он, — записались против него; никто, кажется, не расположен его поддерживать. Следовательно, надлежит постановить о возвращении его в Комитет, который представит Собранию новые соображения».

«Речь идёт о мере общественного спасения, — отвечает Дюко, — сейчас не время произносить длинные речи, сейчас время действовать. Среди статей проекта есть такие, которые существенно касаются порядка и спокойствия города, в котором заседает Конвент; их следует обсудить немедленно...»

«Это как раз самые опасные», — кричат слева.

«Быть может, я встречу больше благосклонности у тех, кто меня прерывает, — возражает Дюко, — если напомним собственные выражения докладчика. Он сам сказал вам, что пора этому собранию принять подобающее ему положение. Во имя достоинства всех нас я требую немедленно обсудить проект Комитета и чтобы докладчик поднялся на трибуну и прочитал его постатейно».

Перед этим категорическим требованием Робеспьер не колеблясь вступает в прения. Он чувствует, что должен любой ценой не допустить даже обсуждения ряда мер, которые, несмотря на уклончивые формы доклада, явно направлены против его друзей из Коммуны.

«Граждане, — говорит он тем доктринёрским тоном, который был ему свойствен, — впечатление, производимое в Собрании рассматриваемым предложением, чрезвычайный интерес, который, по-видимому, придаёт ему некая партия, упорство, с каким затягивают заседания, — всё свидетельствует, что этот проект пробудил опасные чувства и может нарушить спокойствие здесь и повсюду. Нам следует опасаться измен в наших армиях; огонь мятежа, далёкий от угасания, кажется, разгорается в разных точках Республики. Марсель, Лион, Бордо находятся в состоянии контрреволюции; бунт обагрил эти города кровью, и если бы не одновременное восстание огромного народа, аристократия залила бы кровью Париж. Сам Конвент признал

законность и необходимость этого восстания; то была последняя надежда народа — просвещённого друга свободы.

Это движение не имело никаких пагубных последствий, оно совершилось без пролития крови; судя по порядку, царящему в столице, у вас не должно быть больше беспокойства. Остерегитесь же вновь разжигать в Париже семена гражданской войны, столь счастливо потушенные. Вместо того чтобы распускать наблюдательные комитеты, революционные комитеты — эти плотины, воздвигнутые народом против аристократов, — ограничьтесь законом против иностранцев, ибо в высшей степени неблагоприятно, когда державы изгоняют из своих пределов всех французов, принимать у себя всё, что они нам присылают. Что касается идеи заложников, не думаю, чтобы кто-либо здесь стал её поддерживать. Итак, потребуйте от вашего Комитета общественного спасения предложить меры по последствиям декрета об аресте, вынесенного против некоторых членов Собрания, а по остальному перейдите к порядку дня».

Фонфред готовился отвечать Робеспьеру, но, видя, что Барер направляется к трибуне, заявляет, что уступает ему слово, ибо, по его словам, докладчик, без сомнения, хочет опровергнуть горькие упрёки, только что высказанные предыдущим оратором.

Смущение Барера было велико. Он видел, что зашёл не туда; он чувствовал, что его не поддержат коллеги по Комитету, козлом отпущения за которых он так некстати себя сделал ради собственной безопасности. Поэтому он пытается совершить осторожное отступление, делая вид, что сохраняет часть своих первоначальных предложений.

«Если бы Комитет, — говорит он, — думал, что его проект будет встречен столь неблагоприятно, он представил бы вам меры совсем иной энергии; но он должен был сообразоваться с обстоятельствами, учитывать положение, в котором вы находитесь, и то, в котором вам надлежит быть. С обеих сторон Собрания, кажется, отвергают идею заложников; пусть о ней больше не будет речи. Судить её — дело истории и потомства. Тем не менее нам должно казаться странным, что предложение, недавно встреченное рукоплесканиями, когда оно было сделано у этой решётки конституционными властями Парижа, не встречает той же благосклонности, будучи воспроизведено одним из ваших комитетов.

По поводу мер против иностранцев все согласны. Два месяца назад вы учредили комитеты для надзора за ними; но по злонамеренности или, скорее, по избытку усердия эти комитеты, облечённые неограниченными полномочиями, напугали граждан, распорядились о множестве арестов, наложили произвольные поборы и даже совершили кое-какие вымогательства. Нужно сохранить комитеты, обуздывающие аристократию и модерантизм, а прочие распустить.

Право реквизиции общественной силы также должно принадлежать вам, ибо необходимо, чтобы у вас были средства ограждать вашу власть от всяких посягательств.

Ещё одна важная статья проекта — та, которая направлена на то, чтобы командующий вооружённой силой в Париже был законно избран секциями: это вы уже постановили 24 мая.

Наконец, вы должны восстановить свободное обращение корреспонденции. Вот письмо от почтовых управляющих, извещающее меня, что Центральный революционный комитет, не довольствуясь тем, что приостановил рассылку газет, ещё и велит особой комиссии просматривать все письма. Ваш Комитет предлагает вам пресечь всё, что может быть противозаконного в этих произвольных действиях. Судить вам».

Леонар Бурдон требует, чтобы проект, за исключением статьи об иностранцах, был возвращён в Комитет общественного спасения для представления новых мер, лучше отвечающих обстоятельствам.

Дульсе громко протестует:

«Изгоните, — говорит он, — иностранцев, которые вам вредят, но верните мысли её свободное течение. Весьма прискорбно, что, пройдя весь круг тиранических заблуждений, народ вынужден возвращаться к наказаниям, которые он в 1789 году вручил своим первым избранным

кам. Тогда он требовал — и мы требуем сегодня за него — свободы личности, свободы печати, неприкосновенности и свободного обращения писем».

Левая, которую все эти свободы мало заботят с тех пор, как она насильственно захватила власть, энергично настаивает на отсрочке проекта; большинство, ободрённое мужественной речью Дульсе, решает продолжить обсуждение. Тогда демагоги, чтобы добиться своего, прибегают к тактике, которая уже не раз приносила им успех; они посылают на трибуну одного из самых неизвестных своих приверженцев, монтаньяра Лежёна. Пять часов пополудни; собрание заседает с утра. Левая и на этот раз надеется взять противников измором и таким образом фактически, если не юридически, отложить обсуждение.

Лежён отлично исполняет свою роль. Он начинает бесконечную речь, в которой повторяются все общие места, пережёвываемые уже два месяца в клубах и так называемых народных обществах. Он прославляет восстание 2 июня и провозглашает, что для народа, когда речь идёт о завоевании и сохранении свободы, все средства хороши. Он восстаёт против статьи, дающей Конвенту исключительное право реквизиции вооружённой силы. «Вам, — говорит он, — представили эту меру как единственное средство защитить ваше политическое существование. На мой взгляд, соединить в одних руках власть издавать законы и управление общественной силой было бы верхом тирании. Вам надлежит принять лишь одну великую меру: поразить зло в корне, распустить преступные администрации, которые, по-видимому, хотят вступить в союз, объявить заговорщиками и изменниками отечества тех администраторов, которые осмелились бы восстать против национального представительства, поставить их вне закона, в двадцать четыре часа передать в руки исполнителя высших приговоров, временно заменить администраторов департаментов администраторами дистриктов и увеличить жалованье последним».

Лежён не был красноречивым оратором, но он, должно быть, был философом, сведущим в познании человеческого сердца. Обещая прибавку к жалованью администраторам дистриктов за то, чтобы они заняли место своих начальников, он умел вовремя тронуть чувствительную струну. Во все времена метод был одним и тем же, и во все времена он приносил успех. Перед глазами тех, кого хотят обратить, блещут деньгами или чинами — и без особых усилий получают корыстные согласия, оплаченные восторги, которые затем легко выдать за стихийные проявления общественного мнения.

Когда Лежён спускается с трибуны, левая вновь громкими криками требует закрытия заседания.

«Нет! Нет! — отвечает правая. — Декрет, не расходясь!»

Дантон видит, что победа Горы сомнительна, и без колебаний бросает на чашу весов вес своего трибунского красноречия. Он отрекается от предложений, которые в качестве члена Комитета общественного спасения помогал вырабатывать; он требует возвращения вопроса в Комитет, чтобы в двадцать четыре часа был составлен новый доклад. «Статья об иностранцах, — говорит он, — содержит лишь принцип; её надлежит развить. Что касается меры, неточно названной мерой о заложниках, она не представляется срочной; многие даже считают её бесполезной. Остальные статьи заслуживают торжественного обсуждения: каждый выскажет своё мнение о том, что надлежит сделать ради общественного спасения; но поверьте, народ не тронется с места, чтобы насильем требовать возвращения нескольких депутатов, которых вы сочли нужным преследовать перед лицом нации и которые должны ждать своей свободы лишь от приговора, законно вынесенного национальным жюри, которое вы для этого создадите».

Мужественный Дульсе отвечает:

«Пусть, если угодно, отложат закон об иностранцах, но пусть не откладывают мер, которые должны восстановить свободу печати и неприкосновенность тайны переписки; пусть не откладывают уничтожения чудовищных властей, возникших в Париже и в других местах. В этом отношении убеждение всех членов Собрания должно уже сложиться. Пусть Конвент выскажется».

«Требовали, — добавляет иронически Фонфред, — чтобы тайна переписки не могла быть нарушена. Если вы не примете этой меры, то, поскольку не один Париж должен быть третьим лицом в переписке всей Республики, вы, без сомнения, декретом разрешите всем департаментским администрациям применять ответные меры. Я делаю это предложение формально».

Энергичное упорство Дульсе и сарказмы Фонфреда лишь усиливают яростные вопли Горы и трибун. Базир, Левассёр, Бентаболь, Жан Бон Сент-Андре настаивают на возвращении вопроса в Комитет. Наконец Барер объявляет, что он переработает проект и представит новый на следующий день, учитывая сделанные замечания. Ловушка была груба, но способна успокоить сомнения робких умов, всегда столь многочисленных в больших собраниях. К тому же большинство уже устало от своих порывов энергии, и под влиянием этих разнородных чувств отсрочка на завтра принимается. Фактически ей предстояло стать бессрочной.

Ни на следующий день, ни в последующие дни о статьях, возвращённых на рассмотрение Комитета общественного спасения, больше не было речи. События шли своим чередом; революционные комитеты, которые сам Барер называл притонами бандитов и воров, продолжали действовать по-прежнему; об ограничении неограниченных полномочий, которыми они сами себя облекли, больше не говорили, а когда позднее Комитет общественного спасения вновь заговорит с Собранием о судьбе опальных, меры, которых он потребует, ничем не будут походить на те, что он предлагал сначала.

## V

Пока Конвент давал эти неоднократные доказательства упадка, Генеральный совет Коммуны и его достойные сообщники, члены Революционного комитета, удваивали дерзость и наглость. Они повсюду устраивали домашние обыски, множили аресты и захватывали всякую подозрительную переписку, даже если она была скреплена подписью члена Собрания. В то же время, чтобы обмануть общественное мнение и дешёво блеснуть бескорыстием, Центральный повстанческий комитет обещал подать в отставку, а Анрио, 31 мая импровизированно ставший главнокомандующим вооружённых секций, со своей стороны заявлял, что готов сложить полномочия и вернуться в безвестность. На деле ни тот, ни другой и не помышляли, что их принудят исполнить обещания, ибо по опыту знали, как легко сбить парижан с толку, заставляя звучать в их ушах слова «патриотизм», «самоотречение», «преданность делу народа»[7]. Повстанческий комитет ограничился лишь переменной названия; он стал именоваться Комитетом общественного спасения департамента Парижа и под этим новым наименованием продолжал свои беззакония и хищения. Что касается Анрио, он явился в Генеральный совет вновь предложить свою отставку; председатель восхвалил его бескорыстие и от имени Коммуны заключил его в братские объятия, пригласив не покидать должность, пока ему не будет найден преемник. Анрио не счёл возможным отказаться от такого доказательства преданности. Более того: в день выборов он вновь выставил свою кандидатуру. Умеренные секции осмелились противопоставить ему соперника в лице Раффе, мужественного командира батальона Бютте-Мулен, который 2 июня сумел так хорошо противостоять Марату. В первом туре Раффе одержал верх, получив 4 938 голосов против 4 573, поданных за Анрио; однако часть голосов рассеялась между другими кандидатами, и поскольку ни один из двух главных соперников не получил абсолютного большинства, пришлось провести второе голосование. Демагоги воспользовались этой отсрочкой, чтобы созвать всех своих приверженцев и запугать противников. Благодаря этим махинациям Анрио был избран 1 июля 9 087 голосами из 15 000 голосовавших; Раффе на этот раз собрал лишь 5 000 голосов[8] (Moniteur, № 185).

В кризисные времена честные люди выражают своё недовольство тем, что не идут к урнам, и приведённые цифры не нуждаются в комментариях. Г-н Луи Блан[9] тем не менее утверждает, что окончательное падение Жиронды было встречено в столице скорее с надеждами, чем с сожалениями. Он ошибается, и мы не можем не протестовать против подобного вывода. Что могло ввести г-на Луи Блана в заблуждение, так это шумное выражение того искус-

ственного мнения, которое проявляется в Париже после всех революций, как и после всех государственных переворотов. Буржуа, торговец, рабочий этого великого города, даже те, кто не заражён демагогическим ядом, разве не приветствовали во все времена как окончательное решение последовательное торжество всех партий? Идеал парижанина после борьбы — спокойствие улицы, оживление торговли, расцвет роскоши. Этому идеалу он готов принести в жертву самые дорогие интересы, самые законные желания, самые глубокие убеждения. Весь отдавшись настоящему часу, не заботясь о будущем, он сам попадает на клей пышных обещаний, на которые новые режимы всегда так щедры. Пагубная уступчивость, роковые иллюзии! Когда сон рассеивается, уже поздно. Париж — и Франция, увы, слишком часто — пробуждается в крови или в грязи.

## VI

Именно на заседании 9-го Конвент получил вместе с адресами Бордо и Ренна первые известия о сопротивлении, которое государственный переворот 2 июня встретил в департаментах.

Генеральный совет департамента Жиронда выражался так:

«Крики ужаса и мести раздаются на всех публичных площадях и даже в наших стенах. Всеобщее движение негодования и отчаяния устремляет всех граждан в их секции. Депутации теснятся вокруг нас. Все приходят предлагать нам самые крайние меры. Мы не в силах сейчас рассчитать последствия этого брожения и страшимся того часа, когда будем вынуждены сказать вам о нём всё».

Граждане Ренна писали:

«Конвент более не свободен, и такова крайняя дерзость кровавых властителей, поработивших его, что представители двадцати пяти миллионов людей никогда не могли признаться в том унижении, в которое их ввергла горсть злодеев. Довольно и слишком долго мы хранили в сердцах эти жестокие истины; голос народа возвысился, он разражается, он гремит, он изрекает общую волю устами всех коммун. Каков в эту минуту долг народа? Подняться целиком, двинуться на Париж — не для того, чтобы сражаться с ним, как хотят коварно внушить, а чтобы соединиться с тысячами братьев, которые ждут лишь его присутствия, дабы отразить угнетение и вернуть национальному представительству его достоинство, целостность и свободу. Это движение будет страшным; рассчитайте все его последствия; поспешите их предотвратить. Отмените одиозный декрет, подвергающий аресту наших самых неподкупных защитников. Верните их Республике: вы отвечаете за них головой».

В последующие дни стало известно, что примеру Ренна и Бордо последовали и другие города, в частности Лион, Тулуза, Брест, Гренобль. В Нормандии, Бретани[10], Гиени, Лангедоке, Провансе, Дофине подавляющее большинство конституционных властей объявило декреты, изданные Конвентом после 31 мая, недействительными. Главные города Эльзаса, Франш-Конте, Бургундии и Лотарингии высказывались в том же смысле; Конвент мог рассчитывать в лучшем случае лишь на нейтралитет или равнодушие северных и центральных провинций. Правда, даже в городах, наиболее открыто враждебных демагогической партии, существовало беспокойное, дерзкое меньшинство, располагавшее народными обществами и окраинными секциями. Это меньшинство не могло помешать муниципалитетам, почти повсюду жирондистским, принимать постановления и составлять адреса, полные угроз; но оно было достаточно сильно, чтобы фактически парализовать все попытки противодействия перевороту 2 июня. В целом антиконвентовское движение почти повсюду ограничилось декларациями о принципах, адресами, созывами первичных собраний, реквизициями добровольцев, которые чаще всего даже не покидали своих очагов[11].

Сейчас не время вдаваться в подробности этих частичных, плохо согласованных, лишённых внутренней связи сопротивлений, которые впоследствии лишь дали торжествующей демагогии предлог обрушить огонь и опустошение на несколько крупных городов Франции. Рас-

сказ об этих сопротивлениях станет предметом особой главы; здесь же мы только отметим, что в течение всего июня обе стороны ограничивались тем, что издали обменивались угрозами и декретами, не доходя до открытой борьбы. Тактика, принятая победителями 2 июня, состояла в том, чтобы дать угаснуть первому пылу восставших департаментов и не усугублять зла слишком поспешными репрессиями. Побеждённые оказались менее искусны. Они не сумели сохранить единство в борьбе и ещё более разделились в поражении. Одни из опальных остались в Париже, чтобы, как они говорили, протестовать в окопах против насилий, жертвами которых стали; другие укрылись в департаментах и провозгласили там низложение Конвента. Что касается тех жирондистов, которых пощадила Коммуна, то они по большей части продолжали являться на заседания Собрания, чтобы от имени отсутствующих друзей и от своего собственного обличать тиранию, тяготевшую над национальным представительством с 31 мая; но их присутствие, их речи, их голосования — всё шло вразрез с целью, которую они ставили. Они намеревались протестовать, а выглядело это как согласие; они ежеминутно заявляли, что Собрание несвободно, и продолжали участвовать в его совещаниях[12].

## VII

Вскоре, 10 июня, им представился случай возвысить голос с большей энергией, чем когда-либо, когда Эро-Сешель явился на трибуну с чтением нового проекта конституции. Прежде чем докладчик начал излагать соображения Комитета общественного спасения, слово взял Вернье:

«Ради чести Франции, ради вашей чести, — сказал он, — вы должны, прежде чем обсуждать конституцию, заняться участием задержанных членов. Если эти представители виновны, судите их. Их заместят заместители, и тогда департаменты будут пользоваться численной полнотой своего представительства».

«Если бы требовалась эта полнота, — отвечает Жан Бон Сент-Андре, — пришлось бы отозвать ваших комиссаров при армиях, пришлось бы дожидаться, пока ваши коллеги выйдут из темниц коалиции. Вы должны, я признаю, принять по участи арестованных депутатов просвещённое и справедливое решение. Но у вас есть труды неотложной общей пользы, которые не могут быть отложены. Вы отвечаете перед нацией за мгновения, которые им не посвящаете, за заботы, которые уделяете другим предметам. Вы говорите, что не можете совещаться в отсутствие ваших коллег; но вы за эту неделю приняли множество полезных декретов общего значения. Собираетесь ли вы дезавуировать свои голосования? Не окажется ли ваше предложение не чем иным, как замаскированным протестом, заранее направленным против конституции, которой ещё не существует?»

«Если вы не входите в Конвент, — добавляет Тюрио, обращаясь к членам правой, — молчите, удалитесь и дайте нам совещаться».

На этот резкий выпад Ангерран отвечает:

«Напрасно пытались установить несуществующее равенство между отсутствием комиссаров Конвента и отсутствием задержанных членов. Первые отсутствуют по воле нации, в силу свободно принятых декретов; вторые были вырваны из нашей среды силой. Продлевать их арест значило бы разделять преступление тех, кто его добился. Конвент не постановлял ареста своих членов. Большинство не голосовало; большинство не было свободно. Я требую, чтобы в настоящий момент ограничились заслушиванием чтения конституционных статей, но чтобы обсуждение открылось лишь после того, как Конвент выскажется о участи тех его членов, которые задержаны».

«Интерес народа должен стоять выше всего, — отвечает Левассёр. — Отправка комиссаров в армии диктовалась общественным спасением; общественное спасение требовало и ареста задержанных членов. Когда декрет принимался, вы, говорите, не были свободны?»

«Нет!» — восклицают несколько членов справа.

«Что ж! А сейчас вы признаёте себя свободными?» — отвечает оратор-монтаньяр.

«Нет!» — отвечают те же члены.

«Почему же тогда, — добавляет Левассёр, — вы всю неделю голосовали за множество декретов?»

«Мы голосовали за эти декреты с тем, чтобы их пересмотреть», — говорит один из членов правой.

«Эти декреты недействительны!» — говорит другой.

Купе, Дефермон, Дюко, Камбула и другие члены правой настаивают на принятии предложения Вернье. Быть может, их настойчивость вот-вот восторжествует; но Шабо внезапно вбрасывает в прения ретроспективное обвинение в продажности против тех жирондистов, которые заседали в Законодательном собрании. Из этой нелепой и жалкой клеветы возникает скандал, который нарушает ход обсуждения и сбивает его с пути. Именно этого и хотел Шабо. Действительно, чтобы покончить с инцидентом, выродившимся в личные перепалки, Собрание голосует за переход к порядку дня по всем внесённым предложениям и предоставляет слово Эро-Сешелю для чтения доклада.

### VIII

На следующий день, 11 июня, Гора, желая воспользоваться вчерашним торжеством, делает ещё один шаг по пути устрашения. Нападение начинает Лакруа, друг Дантона. С самого открытия заседания он поднимается на трибуну с предложением по порядку ведения:

«Уже несколько администраций департаментов, дистриктов и коммун, — говорит он, — принимают сейчас губительные для свободы меры. Они созвали первичные собрания, приостановили отправку подателей; они уже не признают декретов Конвента и самого Конвента. Некоторые затеяли переписку с другими администрациями, чтобы составить коалицию. Я предлагаю, чтобы завтра было произведено поимённое голосование всех членов Конвента, дабы узнать, кто из депутатов не на своём посту и отправился злоумышлять в департаменты. Я предлагаю декретировать, что они объявляются лишёнными права быть народными представителями и заменяются своими заместителями. Я требую, чтобы под страхом смерти всем администраторам, судьям, муниципальным должностным лицам и прочим публичным чиновникам было воспрещено принимать или рассылать какие-либо постановления, направленные на созыв первичных собраний, на воспрепятствование обнародованию законов, декретированных Конвентом, на организацию вооружённой силы для похода на Париж, наконец, на образование коалиции департаментов, общей или частичной».

Дефермон удивляется, что предлагают эти суровые меры ради сохранения мира.

«Начните, — говорит он, — с того, что верните в свою среду членов, которых вы удалили, или хотя бы рассмотрите причины их задержания. Вспомните, что по простому предложению одного лица вы вычеркнули четверых из тех, кто должен был быть включён в декрет, не зная, были ли они сообщниками остальных; вспомните, что по предложению того же лица вы подвергли аресту четверых других, которые вовсе не были обвинены. Докажите же, что вы хотите отличать невинного от виновного, докажите, что хотите быть справедливыми. Сколько бы вы ни составляли проскрипционных списков, лишь доверием вы сможете добиться уважения к вашим декретам и сохранить единство и неделимость Республики».

«Слова Дефермона, — восклицает Ру (из Верхней Марны), — хорошо доказывают, что существует партия, которая хочет разжечь гражданскую войну и федерализировать Республику; но одно лишь чтение конституции опрокинет все эти заговоры. Та, которую мы вам только что предложили, уже, кажется, встретила всеобщее одобрение, тогда как ваши талантливые люди потратили семь месяцев на подготовку чудовищного и бесформенного проекта».

«Верно! Верно!» — повторяют хором все монтаньяры.

«Но ведь его составил Барер; это тот же самый проект, что вы теперь представляете», — отвечают справа.

Ру делает вид, что не слышит этого неопровержимого довода.

«Раз война, — продолжает он, — объявлена между двумя партиями, будет видно, к какой из них присоединятся».

«Справедливостью, — возражает Фонфред, — а не суровыми законами вы сможете спасти Францию от ужасов гражданской войны. Какова мера, которой требуют все? Чтобы вы дали Франции республиканскую конституцию. Чтобы предотвратить великие беды, вы должны заниматься ею без перерыва. Поэтому я не буду предлагать приостановить её обсуждение; но я требую, чтобы Конвент установил срок, в который Комитет общественного спасения обязан представить доклад о задержанных депутатах».

«Прежде чем заниматься людьми, — отвечает Тюрио, — я требую заняться делами. Народ вверил верховную власть Собранию. Откройте уголовный кодекс, и вы увидите, что смертью карается тот, кто осмелится совершить акт суверенитета. Директории департаментов, которые позволяют себе взимать подати, захватывать национальные кассы, набирать армии и направлять их по своему произволу, разве не посягают на суверенитет? Кто из вас осмелится это отрицать?»

«А парижский муниципалитет?» — кричат ему справа.

«Никогда, — продолжает Тюрио, — парижский муниципалитет не позволял себе тех преступлений и злоупотреблений властью, которые я вам обличаю. Итак, вы объявите недействительными эти действия, цель которых — разорвать грудь Республики. Вы займётесь и задержанными депутатами; но вспомните, что их присутствие здесь было сигналом к смуте и раздорам. Их друзья говорят нам, что эти люди были компасом Конвента, что их таланты были необходимы для спасения свободы. Я напому вам, что эти люди — те самые, что составляли Комитет общей обороны, который в течение семи месяцев позволял предавать нацию и рыть пропасть, долженствовавшую нас поглотить. С тех пор как их нет в нашем Собрании, в нём царит спокойствие, и мы издаём полезные законы. Я требую, чтобы остановились на великих мерах, предложенных Лакруа. Я требую, чтобы он прочитал их вновь и чтобы они были приняты».

Обсуждение закрывается. После нескольких сомнительных голосований Собрание постановляет передать вопрос в Комитет общественного спасения. Тот представил доклад три дня спустя, 14 июня. В нём не было и речи о суровых мерах, предложенных Лакруа против департаментских администраций; было принято лишь предложение о поимённой проверке. Она состоялась 15-го и установила отсутствие большого числа депутатов[13].

Уже позавчера, при открытом голосовании за избрание председателя, который должен был сменить Малларме, в нём принял участие лишь 201 избиратель. Колло д'Эрбуа собрал 157 голосов; Шассе, один из наиболее скомпрометированных членов правой, получил 80. Таким образом, не более трети представителей посещало заседания Конвента, и всякий раз, когда тайна голосования оставляла им некоторую независимость, побеждённые не упускали случая помериться силами с победителями.

В тот же день депутация народных обществ Вернона и Андели явилась к решётке с доносом на федералистские постановления Генерального совета департамента Эр, который хотел организовать вооружённую силу против Парижа и открыто проповедовал неповиновение приказаниям Конвента, угнетаемого мятежниками. Кроме того, она сообщила Собранию, что два народных представителя, Ромм и Приёр (из Кот-д'Ор), арестованы в Байё и переведены в Кан.

При этих известиях левая разражается проклятиями. Лакруа требует, чтобы все депутаты от Кальвадоса были подвергнуты аресту в обеспечение безопасности двух комиссаров.

В этих обстоятельствах Савари (от Эр) имеет мужество подняться на защиту своих земляков.

«В моём департаменте, — говорит он твёрдым тоном, — любят свободу, но любовь к свободе никогда не обходится без тревоги её утратить. Не насилием и тиранией, а благими законами можно её утвердить».

«Да, — восклицает один монтаньяр, — умеренными законами, которые позволяют господствовать аристократии».

«Мои сограждане, — продолжает Савари, — правда, умеренны в речах, но тверды и решительны в делах. В наших краях не доносят без доказательств, не угнетают слабого патриота, но борются с аристократией, повергают её и заставляют исполнять законы. Если в Париже существует партия, мои сограждане сокрушат её, соединившись с добрыми гражданами Парижа; если её нет, они обнимут своих парижских братьев. Вот мой ответ доносчикам».

Дульсе не менее мужествен.

«Знаете ли вы, — говорит он, — как мои земляки узнали о событиях 2 июня? Вот факт. Встревоженные грозой, которая давно собиралась и надвигалась с грохотом, граждане секций города Кана отправили к вам депутацию, чтобы сообщить о своих опасениях. Тщетно эти делегаты являлись к вашей решётке; тщетно я умолял вас их выслушать: я ничего не мог добиться. Они были ещё в Париже в день тех злосчастных событий, которые хотят украсить пышным именем восстания, но которые потомство назовёт иначе и которые уже заранее вся совокупность французских граждан называет иначе. Они видели, что Собрание, недостаточно свободное, чтобы их выслушать, уже не свободно и для того, чтобы их успокоить. Они вернулись к своим доверителям...»

Яростный ропот, поднявшийся с Горы и с трибун, прерывает оратора. Тот отвечает с новой силой:

«Я давно принёс в жертву свою жизнь. Со мной можно сделать что угодно, но моё мнение поработить не удастся».

«Я вам отвечу! — восклицает Дантон, устремляясь к трибуне. — Мы приближаемся к мгновению, когда действительно утвердим французскую свободу, дав Франции республиканскую конституцию. Именно в момент великого порождения политические тела, как и тела физические, всегда кажутся под угрозой близкого разрушения. Мы окружены грозами. Гром грохочет. Что ж! Именно из этих раскатов выйдет творение, которому суждено обессмертить французскую нацию. Говорят, что парижское восстание вызывает волнение в департаментах. Я заявляю перед лицом вселенной: эти события составят славу этого великолепного города. Я провозглашаю перед лицом Франции: без пушек 31 мая, без восстания заговорщики торжествовали бы. Они диктовали бы нам закон. Пусть преступление этого восстания падёт на нас. Я сам призывал это восстание, когда говорил, что если бы в Конвенте нашлось сто человек, подобных мне, мы устояли бы против угнетения, мы утвердили бы свободу на незыблемых основаниях.

Враги народа выдали себя сами; они бежали, переменили имена, звания, взяли фальшивые паспорта. Этот Бриссо, корифей нечестивой секты, которая вот-вот будет задушена, этот человек, хвалившийся своим мужеством и бедностью, обвиняя меня в том, что я весь в золоте, — теперь лишь жалкий беглец, который не может ускользнуть от меча закона и над которым народ уже свершил правосудие, арестовав его как заговорщика[14].

Пусть адреса, присланные из департаментов, чтобы оклеветать Париж, вас не тревожат. Париж будет тем выпуклым зеркалом, которое соберёт все лучи французского патриотизма и сожжёт ими всех его врагов. Граждане, никакой слабости! Торжественно заявите французскому народу, что без восстания 31 мая свободы больше не было бы. Скажите ему, что преступная шайка только что доказала, что не хотела конституции. Скажите ему, чтобы он сделал выбор между Горой и этой партией. Поскорее представьте на его утверждение конституцию, которую вы вот-вот примете. Эта конституция — батарея, которая откроет картечный огонь по врагам свободы и сокрушит их всех».

Правая требует перехода к порядку дня; но Дюруа, депутат от Эр, возражает. Он требует, чтобы Бюзо, глава нормандских заговорщиков, был объявлен обвинённым, и чтобы в наказание городу Эврэ за присоединение к губительным для свободы постановлениям сторонников

Жиронды главный город департамента был перенесён в Берне, город, известный своим патриотизмом.

«Я требую также, — добавляет Тюрио, — декретировать арест остальных членов этого собрания, удалившихся в Эврё, чтобы злоумышлять вместе с Бюзо, — всех этих Ласурсов, Горса, Саллей, Ларивьеров».

«На голосование декрет об обвинении Бюзо!» — кричат слева.

«А я, — воскликнул один смелый депутат, имя которого мы, к сожалению, не можем назвать[15], — я требую декрета об обвинении Анрио, временного командующего вооружённой силой Парижа».

Члены правой энергично поддерживают это предложение; но с других скамей Собрания раздаётся ропот. У большинства не хватает мужества присоединиться к подобной смелости. Гора одерживает верх. Бюзо объявляется обвинённым; также объявляются обвинёнными администраторы Кальвадоса, распорядившиеся арестом Ромма и Приёра, и члены департамента Эр, подписавшие федералистские постановления. Комитету общественного спасения поручается представить доклад о депутатах, кроме Бюзо, которые могут находиться в Кане или Эврё. Наконец, главный город департамента Эр временно переносится в Берне, где без промедления должны собраться члены Генерального совета, оставшиеся верными своему долгу.

Кутон хочет довести победу своих друзей до конца. Он предлагает Конвенту декретировать, что в дни 31 мая, 1 и 2 июня Коммуна и народ Парижа могущественно содействовали спасению свободы, единства и неделимости Республики.

Робеспьер поддерживает предложение друга.

«Да, — говорит он, — подтвердите таким образом ваши прежние решения, вновь санкционируйте события; примите немедленно и без колебаний предложение Кутона. Всякое обсуждение этого предмета послужило бы лишь заговорщикам и клеветникам Парижа».

Собрание, послушное голосу будущего диктатора, значительным большинством голосует за этот декрет, достойно венчающий череду его слабостей и позора.

На следующий день по предложению Берлье объявляется обвинённым[16] Дю Шатель, который, как говорили, отправился в Нант, чтобы разжигать там восстание, а членов Директории департамента Сомма постигает та же участь за опубликование протеста большинства депутатов своего департамента[17].

После такого освящения победы 2 июня для арестованных представителей не оставалось больше надежды. Поэтому некоторые из них, до тех пор противившиеся уговорам своих коллег, укрывшихся в Кане, решились к ним присоединиться. На заседании 24 июня Гора с дрожью гнева узнаёт о бегстве Петиона и Ланжюине. Раздаются требования, чтобы задержанных стерегли по двое жандармов и не давали им ни с кем общаться. Некоторые члены, в том числе Амар, предлагают заключить их в аббатство[18]. Дюко и Фонфред хотят выступить в защиту друзей; они требуют, ради самой чести Конвента, немедленного представления столь давно обещанного доклада; но Робеспьер, вцепившийся в свою добычу, бросается к трибуне:

«Как! — восклицает он. — Ещё существуют люди, которые притворяются, будто сомневаются в фактах, известных всей Франции! Как! Национальный Конвент ставят в один ряд с горсткой заговорщиков...»

При этих словах справа раздаётся яростный ропот.

«Я требую, — говорит Лежандр, — чтобы первый же бунтовщик, первый из этих мятежников, — пальцем он указывает на скамьи Жиронды, — который прервёт оратора, был отправлен в аббатство».

«Как! — продолжает Робеспьер. — Верховное Собрание ставят в один ряд с Бриссо, этим подлым полицейским шпионом, этим человеком, которого рука народа схватила, покрытого позором и преступлениями! Притворно требуют доклада, как будто не знают преступлений задержанных!»

Их преступления, граждане, — это общественные бедствия, дерзость заговорщиков, коалиция тиранов Европы, их давний союз с тираном, ещё недавно царствовавшим в Тюильри, законы, которые они не давали нам принять, святая конституция, возникшая с тех пор, как их здесь больше нет, — конституция, которая объединит всех французов и расстроит козни мятежников. Разве не оскорбление Конвента — говорить ему в пользу каких-то Верньо, каких-то Бриссо? Оставим этих жалких людей с преследующими их угрызениями совести и займёмся общими интересами».

Робеспьер, как видно, оскорблял поверженного врага. Его гордыня и надменность не знали больше границ с тех пор, как он и его друзья притязали на то, что одарили Францию бессмертным творением — своей конституцией, составленной и завершённой менее чем за пятнадцать дней. Это творение предстояло вынести на утверждение народа, собранного в первичных собраниях, и заранее рассчитывали на восторженный приём. Разве конституции, как и государственные перевороты, не встречаются во все времена рукоплесканий невежественной толпы, готовой приветствовать в первых зарю благоденствия, которое никогда не наступает, а во-вторых — окончательное завершение кризисов, которые всякий раз отвращают и которые всякий раз возрождаются!

## Примечания:

[1] «Moniteur» приписывает эти слова Базиру; «Journal des Débats et Décrets» — Робеспьеру. Мы сочли нужным следовать этой последней версии.

[2] См. в «Moniteur», № 60, письмо Марке, председателя Центрального революционного комитета.

[3] Вот, в частности, переписка, которой обменялись Комитет общественного спасения и муниципалитет по поводу батальонов добровольцев, расквартированных в Рюэе и Курбеуа, которые сыграли большую роль в мятеже 2 июня.

### КОМИТЕТ ОБЩЕСТВЕННОГО СПАСЕНИЯ

Заседание 4 июня.

Присутствуют: Камбон, Гюйтон, Барер, Ленде, Лакруа, Трейяр, Дантон.

Комитет постановил запросить военного министра, по чьему приказу добровольцы, расквартированные в Рюэе и Курбеуа, прибыли в Париж в прошлое воскресенье 2 июня и почему они не отправляются к месту назначения — на границу или в Вандею; кроме того, было постановлено, что эти войска будут немедленно отправлены в Брест.

### КОММУНА ПАРИЖА.

5 июня 1793 года, 2-го года Французской республики.

Коломбо, секретарь-письмоводитель Парижской коммуны,  
гражданину Дефоргу, помощнику военного министра.

Гражданин,

гражданин мэр только что передал мне ваше сегодняшнее письмо относительно добровольцев, расквартированных в Курбеуа и Рюэе, которые в прошлое воскресенье прибыли в Париж. Гражданин мэр уже доложил Комитету общественного спасения о причинах, вызвавших это перемещение: Парижская коммуна вручает знамя каждому из парижских батальонов, отправляющихся в Вандею. Батальон, расквартированный в Курбеуа и Рюэе, как ранее делали другие, прибыл в прошлое воскресенье в парижскую ратушу и получил своё знамя от Генерального совета Коммуны. Оно было вручено ему лишь в три часа пополудни, что и могло задержать его возвращение в казарму. Эти причины — единственные, которые могли вызвать марш данного батальона, и Муниципалитет не может дать вам по этому поводу никаких иных сведений.

[4] Ещё 28 апреля Комитет общественного спасения принял постановление следующего содержания:

Комитет, принимая во внимание, что Республика подвергается нападению извне и изнутри посредством измены и вероломства; что воюющие державы поддерживают сношения с мятежниками, разжигают огонь гражданской войны; что враги Республики применяют в этой войне чрезвычайные средства, которыми до сих пор не пользовалась ни одна нация; что они плетут свои заговоры внутри отечества, замышляют восстания, убийства, поджоги, измены всякого рода; что тайна переписки есть пагубное средство губить отечество, что общественное спасение требует вскрыть этот источник бедствий Франции и что ни один гражданин при столь imminent опасности не может требовать тайны своих писем и своей переписки, когда спасение отечества властно требует их вскрытия и сообщения;

постановил, что все письма, приходящие из-за границы в Париж, будут вскрываться.

Для сего будет назначена комиссия из трёх граждан, которые будут определены министром внутренних дел; он уведомит об этом и направит список в Комитет. Эта комиссия будет сноситься непосредственно с Комитетом и передавать ему все подозрительные письма и переписку (Комитет общественного спасения, рег. 1, с. 466).

Законом от 9 мая Конвент постановил, что во всех коммунах, где имеется почтовая контора, два муниципальных должностных лица должны явиться к начальнику конторы, потребовать выдачи всех писем, адресованных лицам, внесённым в список эмигрантов, и проверить их содержание в присутствии Генерального совета коммуны.

Тотчас после своего учреждения, не дожидаясь, пока 2 июня доставит ему торжество, Центральный революционный комитет распространил эту меру на всю корреспонденцию, как заграничную, так и внутреннюю. Вскоре он дошёл до такой дерзости, что вскрытые таким образом письма запечатывались вновь печатью с надписью по кругу: «Революция 31 мая».

[5] «Moniteur», № 159, даёт лишь краткое изложение этого проекта декрета; полный текст мы нашли в «Journal des Débats et Décrets», № 262, с. 73.

[6] См. том VII, книга XL, § XII.

[7] Вот в каких выражениях Революционный комитет уже 4 июня обещал сложить свои полномочия. Как будет видно, он ставил условием, чтобы предварительно были оплачены вооружённые им во время государственного переворота преторианцы; условие было выполнено, но Комитет тем не менее продолжал удерживать узурпированную власть.

#### КОМИТЕТ ОБЩЕСТВЕННОГО СПАСЕНИЯ.

Заседание 4 июня, утром.

Присутствуют: Камбон, Гюйтон, Барер, Ленде, Делакура, Трейяр и Дантон.

Париж, Революционный комитет:

Мэр Парижа, вызванный сегодняшним письмом, явился в Комитет с четырьмя членами Революционного комитета. Эти последние согласились с необходимостью сложить свои полномочия и предлагают сделать это в Собрании, созываемом департаментом на четверг, или даже ранее, если будет исполнено обещание об уплате жалованья национальным гвардейцам и гражданам, взявшимся за оружие 31 мая прошлого месяца, 1-го и 2-го сего месяца.

Г-н Луи Блан совершает серьёзную ошибку, утверждая (т. VIII, с. 479), что из одиннадцати граждан, составлявших Революционный комитет, никто не испытывал желания продлить свою власть за пределы данных обстоятельств. Предрасположенный верить в искренность обещаний демагогов, названный историк не дал себе труда проверить факты. Мы, со своей стороны, обнаружили большое число документов, исходящих от Повстанческого комитета, который, чтобы ввести в заблуждение своих хулителей, принял название Комитета общественного спасения департамента Парижа; он заседал на улице Сент-Оноре, напротив церкви Сен-Рош.

Эти документы скреплены подписями Маршана, Орни, Примероза, Менье, Шери, Делеспина, то есть наиболее важных членов первоначального Комитета.

Они, кроме того, доказывают:

что члены этого Комитета получали каждый вознаграждение в размере 6 франков в день;

что члены комиссии по надзору за почтой, иначе говоря — чёрного кабинета, находившейся под наблюдением этого Комитета, имели индивидуальное жалованье в 10 франков в день;

что этот Комитет действовал ещё 20 августа 1793 года, то есть почти три месяца спустя после событий 31 мая.

[8] В процессе, возбуждённом два года спустя против Сейра, того самого знаменитого мирового судьи секции Люксембург, который председательствовал при массовых убийствах в монастыре кармелитов на улице Вожирар (см. т. III, кн. XI, § VIII), мы обнаружили свидетельские показания, из которых видно, как проходило избрание Анрио во втором туре. Избиратели должны были голосовать вслух; все, кто осмеливался подать голос за Раффе, отмечались красным крестом в списке явки, и их имена сопровождалось эпитетом «контрреволюционер». Удивительно, что при таких приёмах и в такие времена нашлось 4 938 граждан, отважившихся отказать Анрио в звании командующего вооружёнными секциями Парижа, — звании, которое позднее принесло ему, хотя он ни минуты не служил в действующей армии, патент бригадного

генерала и даже дивизионного генерала. Правда, тогдашний военный министр, неспособный Бушотт, не был столь щепетилён.

[9] Том VII, с. 478.

Г-н Луи Блан, чтобы доказать, что государственный переворот 2 июня был встречен парижским населением едва ли не с радостью, ссылается на свидетельство Прюдома, знаменитого издателя «*Révolutions de Paris*». Он говорит, что этот журналист открыто заявил о своём удовлетворении результатами 2 июня, и добавляет, что это одобрение не может быть заподозрено, ибо Прюдом был на короткое время арестован и должен был быть сильно раздражён. Г-н Луи Блан очень плохо знает Прюдома и ему подобных. Тот, конечно, мог быть сильно раздражён своим арестом, но именно этот арест заставил его понять, что впредь надлежит быть осмотрительнее. Страх сделал его благоразумнее и внушил ему тот заказной энтузиазм, с которым он приветствовал торжество победителя.

[10] В Бретани антиконвентовское движение было настолько ярко выраженным, что увлекло четырёх депутатов-монтаньяров, находившихся тогда в миссии при армии берегов Бреста, — Мерлена из Дуэ, Каваньяка, Жилле и Севестра, — отправить Собранию весьма энергичный протест против событий 2 июня. Наши читатели найдут в конце этого тома этот документ, интересный во многих отношениях.

[11] Франция представляла тогда довольно странное зрелище. Множество муниципальных и департаментских властей, отказываясь признавать декреты Конвента, продолжали переписываться с ним и с его агентами; сообщение не прерывалось; почта, дилижансы, частные экипажи ходили как обычно; из маратистского города в жирондистский и обратно можно было проехать без особых затруднений. (См. по этому поводу в оправдательных документах в конце тома заметку о путешествии Муше в Эврё.)

[12] Это противоречивое поведение очень верно оценено в письмах, которые Барбару, укрывшийся в Кане, писал своему коллеге и другу Дюперре, оставшемуся в Париже:

«Лучшее средство в настоящий момент — не принимать никакого участия в совещаниях Собрания. Пусть все наши друзья изберут этот образ действий; пусть они напечатают это, пусть провозгласят по всей Республике. Это мера, необходимая для того, чтобы сплотить департаменты, из которых некоторые колеблются, полагая, что правая сторона признаёт существование Конвента и совещается с Горой. Если будет поимённое голосование, не следует упускать этот случай, чтобы торжественно заявить о неполноте представительного корпуса».

Несколько дней спустя он повторял свои настояния:

«Думаешь ли ты помочь восстанию департаментов против угнетения со стороны парижских властителей, думаешь ли ты спасти свободу, оставаясь в Париже, как делают наши коллеги? Во-первых, задержанные под арестом страдают и не делают ничего полезного для отечества. Прочие наши коллеги то являются в Собрание, то отсутствуют. То совещаются, то отказываются участвовать в совещаниях. Такое переменчивое поведение вводит в заблуждение многие умы в департаментах и губит общественное дело. Нет! не следует совещаться, но следует торжественно заявить о неполноте законодательного корпуса. Нет! не следует присутствовать на заседаниях, а, напротив, следует покинуть Париж. Возвращение депутатов, оставшихся верными, в каждый из своих департаментов невозможно, потому что при посредстве некоторых маратистских коммун их арестовали бы по дороге, да и какую пользу принесли бы они, будучи таким образом разрознены и действуя без всякого согласия? Моё мнение и мнение наших друзей, собравшихся здесь или в Ренне в числе двадцати, таково, что вам следует присоединиться к нам — не для того, чтобы образовать власть, которая могла бы существовать лишь в случае, если бы собралось большинство Конвента, но чтобы сообща выработать меры, способные спасти свободу; чтобы придать мнению департаментов новый толчок, представив им большую массу представителей, изгнанных и преследуемых парижскими тиранами. Приезжайте на гостеприимную землю Нормандии, чтобы своим присутствием ещё более воспламе-

нить рвение граждан, приезжайте, чтобы дать новое утешение вашим друзьям и беседовать с ними об отечестве и всегда об отечестве».

[13] Один из членов имел мужество ответить на вызов своего имени: «Да, присутствую при тирании». Газеты, к сожалению, не сохранили нам имени этого бесстрашного представителя.

[14] Бриссо был только что арестован, 10 июня, в Мулене администраторами департамента Алье.

[15] Мы не нашли его ни в «Moniteur», ни в «Journal des Débats et Décrets».

[16] Шудьё, находившийся тогда в миссии в западных департаментах, донёс Комитету общественного спасения на Дю Шателя как на лицо, имеющее связи с вандейскими повстанцами; в доказательство он приводил его более чем подозрительное поведение в деле бывшего короля. Как только Дю Шатель узнал о декрете о своём аресте, он написал Комитету общественного спасения письмо, надо признать, составленное так, чтобы навлечь на голову этого мужественного молодого человека месть демагогов. Поэтому когда несколько месяцев спустя в Бордо он попал в руки сборов Комитета общественного спасения, его враги поспешили немедленно переправить его в Париж. Рьюфф, его товарищ по несчастью, рассказал в своих мемуарах о недостойном обращении, которое Дю Шателю пришлось претерпеть от низших агентов Комитета. Вот письмо несчастного представителя, которое нам посчастливилось отыскать.

Нант, 18 июня 2-го года Республики и, надеюсь, 1-го года противуанархии.

Г. С. Дю Шатель, депутат национального Конвента, пяти или шести честным людям, руководящим Комитетом общественного спасения.

Господа,

ваше намерение — добиться, чтобы мне отрубили шею; я далёк от того, чтобы считать это дурным; очень удобно избавляться именем отечества от людей, которые мешают вашим честолюбивым замыслам. Чтобы облегчить вам средства привести меня на эшафот, я препровождаю вам печатный листок, который я в изобилии распространял в департаментах бывшей Бретани.

Заявляю вам, что вместо того, чтобы скрываться, я буду показываться открыто и что, верный клятве жить свободным или умереть, я не перестану бить в набат против людей, узурпировавших национальный суверенитет, пока не лишу их возможности вредить.

Республиканец,

Г.-С. ДЮ ШАТЕЛЬ.

Соблаговолите приобщить это письмо и этот печатный листок к материалам моего процесса.

Дю Шатель, преданный Революционному трибуналу, был казнён 9 брюмера II года.

[17] См. том VII, примечание IX, «Протест депутатов департамента Эна».

[18] Революционный генеральный совет уже 3 июня хотел удвоить охрану арестованных депутатов, приставив к ним тюремщиков по своему усмотрению. Он принял следующее постановление:

Ратуша. — Генеральный совет Коммуны.

Заседание 3 июня 1793 года.

По замечанию одного из членов о том, что охрана депутатов Конвента, порученная одному жандарму, может внушать справедливые опасения жителям Парижа, под покровительство честности которых они были отданы,

Генеральный совет постановляет, что к депутатам, подвергнутым аресту, будут приставлены два добрых гражданина-санкюлота для помощи жандарму в его службе.

Однако по жалобе некоторых арестованных депутатов, заявивших, что их состояние не позволяет им оплачивать такую роскошь стражи, Конвент распорядился, чтобы эти дополнительные тюремщики удалились и чтобы депутаты даже могли выходить и заниматься своими

делами под простой охраной своего штатного жандарма. Но после бегства Петиона, Ланжюине и нескольких других депутатов к охране депутатов, временно оставленных в своих жилищах, были приставлены два жандарма.

## КНИГА XLII. — МОНТАНЬЯРСКАЯ КОНСТИТУЦИЯ.

I. Общий характер обсуждения. — II. Законы, выносимые на народное утверждение. — III. Противоречивые мнения о праве войны и мира. — IV. Исполнительная власть, вверяемая совету из двадцати четырёх членов. — V. Эро-Сешель предлагает создать национальное большое жюри для защиты граждан от угнетения. — VI. Свобода культов приравнена к свободе мнений. — VII. Принятие Конституции и оценка этого труда.

### I

Мы не станем рассматривать один за другим сто двадцать статей монтаньярской конституции. Они вызвали в Собрании лишь, как правило, урезанные или бессвязные прения. На каждом из двенадцати посвящённых им заседаний происхождения всякого рода почти всегда заставляли законодателей прерывать или откладывать их рассмотрение, и спор лишь редко, в виде исключения, приобретал ту широту и серьёзность, какие подобают такому предмету. Поэтому нам достаточно будет остановиться на самых заметных пунктах и наиболее характерных фактах.

В одной из предыдущих книг[1] было показано, какая участь постигла проект, представленный Кондорсе от имени конституционного комитета, и как его обсуждение было внезапно прервано событиями, предшествовавшими государственному перевороту 2 июня. 29 мая, под всё возраставшим давлением парижских демагогов, Конвент, казалось, негласно отказался от этого проекта, ибо поручил своему Комитету общественного спасения, нарочно усиленному пятью членами[2], подготовить новую редакцию и представить ему конституционные основы.

В течение всей своей борьбы против Жиронды монтаньяры пользовались всеми средствами и злоупотребляли всеми предложениями, чтобы до бесконечности затягивать обсуждение плана Кондорсе и его друзей. Их очевидная тактика состояла в том, чтобы внушить народу, будто, пока они не станут полными хозяевами, Собрание никогда не сумеет дать Франции подлинно республиканскую конституцию. Сокрушив Жиронду, монтаньяры почли за честь сделать за восемь дней то, чего их противники не могли сделать за несколько месяцев. Уже 10 июня Эро-Сешель принёс на трибуну новую конституцию, которая на первый взгляд казалась отличной от той, что подготовил Кондорсе, но на деле рабски воспроизводила её во многих частях.

Доклад бывшего генерального адвоката Парижского парламента не выходит за пределы пошлых общих мест. Это всё та же революционная фразеология: народ наделён всеми добродетелями, он обладает всеми познаниями, он вправе без апелляции навязывать свою волю всем совестям. «Общественный договор» Жан-Жака Руссо провозглашается кодексом, которому отныне надлежит управлять судьбами возрождённой и непогрешимой нации[3].

Едва Эро-Сешель закончил чтение, как Робеспьер, а за ним Барер требуют немедленно начать обсуждение монтаньярского творения, которому они расточают самые пышные похвалы.

«Вся Европа, — восклицает первый, — будет вынуждена восхищаться этим прекрасным памятником, воздвигнутым человеческому Разуму и суверенитету великого народа».

«План Комитета, — говорит второй, — краток, ясен, точен; он составлен поистине лапидарным стилем. Он доказывает успехи общественного разума».

Вечером у якобинцев Робеспьер повторяет тот же дифирамб; но его восторг встречает противника в лице Шабо, который находит, что проект недостаточно заботится о судьбе народа, забывает обеспечить хлеб тем, кто его лишён, не даёт достаточной гарантии свободе. Этой гарантией, добавляет неистовый демагог, должна быть гильотина; отвратительная док-

трина, последний довод, *ultima ratio*, дававшая страшному орудию народного гнева тот же девиз, что и пушкам королей.

Обсуждение открылось уже на следующий день, 11 июня, в Собрании. Первые четыре главы были, можно сказать, приняты по прочтении, но по поводу статьи 6 пятой главы завязался довольно серьёзный спор. Речь шла о выборах в Законодательный корпус, которые должны были производиться в первичных собраниях всеобщим прямым голосованием, поименной подачей голосов. Это, надо признать, был отличный способ давить на слабых и прибирать к рукам робких.

Один из членов правой, Реаль, имел мужество потребовать предварительного вопроса по этой статье, которая, по его словам, была способна уничтожить свободу голосования.

«Истинные республиканцы, — ответил Жан Бон Сент-Андре, — не боятся высказывать своё мнение».

«Свет и гласность, — добавил Дантон, — суть естественные и повседневные стихии свободы. Пусть каждый свободно высказывает своё мнение: я требую, чтобы богатый мог писать, а бедный — говорить».

Собрание уступило этому прекрасному доводу и, декретируя анархию у основания избирательной лестницы, как ему предстояло водворить её и на вершине нового общества, постановило:

что выборы будут производиться поименным голосованием или вслух, по усмотрению каждого голосующего;

что первичные собрания не могут предписывать единообразного способа голосования;

что счётчики будут фиксировать голоса граждан, которые, не умея писать, предпочтут голосовать поименно.

Затем был поднят вопрос о том, следует ли избирать заместителей депутатов для замещения — по примеру, данному Учредительным, Законодательным собраниями и самим Конвентом — умерших, отрешённых или подавших в отставку членов. Гийомар и Даннон[4] поддерживали эту систему; Меоль и Тюрио оспаривали её. Эро-Сешель, выступив в свою очередь от имени Комитета, представил эту меру как опасную и антинародную. «Ради нескольких депутатов, — сказал он, — которые в течение сессии могут оставить свой пост вакантным, какая нужда назначать шестьсот заместителей? В интересах единства Республики не имейте заместителей. Это значило бы разжигать раздоры в Законодательном корпусе, это значило бы поощрять малодушие. Выroyте вокруг поста законодателя пропасть, грозящую трусам, который захотел бы покинуть его без причины. Заставьте его оставлять этот пост лишь вместе с жизнью, а для этого не оставляйте за его спиной заместителя».

Конвент дал убедить себя этими доводами. Институт заместителей, просуществовавший четыре года, исчез из наших законов. Ни одна из конституций, сменявшихся с тех пор, его не воспроизвела.

Другой вопрос, подлежавший рассмотрению, был таков: могут ли департаменты избирать своих депутатов на всём пространстве Республики?

Делакруа (от Марны) высказался за отрицательный ответ.

«Неужели вы думаете, — сказал он, — что собрание, составленное из людей, избранных в департаментах благодаря репутации, приобретённой ими в Париже, будет собранием, пригодным для поддержания равенства во всей Республике? Вы сосредоточиваете национальное представительство в руках немногих людей, которые присвоили себе репутацию через огласку нескольких сочинений, через защиту нескольких подсудимых; вы устанавливаете аристократию репутаций, не менее опасную, чем многие другие. Чтобы обеспечить свободу, сами поставьте пределы осуществлению этой свободы; позвольте народу выбирать своих представителей только среди людей, находящихся рядом с ним и ему известных. Я требую во имя обще-

ственной свободы, во имя равенства прав, чтобы никто не мог быть представителем народа иначе как после шести месяцев проживания в округе, который отдал за него голос».

Фонфред заметил, что Франция ещё не насчитывает много людей, сведущих в политике и законодательстве. По его словам, были округа, где, быть может, не нашлось бы ни одного. Принять предложение Делакруа значило бы призвать невежество к управлению Республикой. Гарро добавил, что в силу конституции 1791 года при выборах в Законодательное собрание департаменты были обязаны избирать всех своих представителей из своей среды; напротив, при выборах в Конвент народ мог брать их по всей Франции. «Какой из двух способов удался лучше? — сказал в заключение молодой жирондист. — Судить об этом предоставляю самому Собранию». Пуллен Гранпрей перевёл спор на другую почву. Возобновляя предложение, которое Робеспьер заставил принять 16 мая 1791 года в Учредительном собрании, он потребовал, чтобы члены одного законодательного созыва не могли быть переизбраны в следующий. На этот раз Робеспьер не поднялся, чтобы поддержать тезис, который двумя годами ранее снискал ему такую громкую славу бескорыстия. Поскольку никто не поддержал ни мнения Пуллена Гранпрея, ни мнения Делакруа, статья была принята в редакции Комитета.

Всякий француз, пользующийся правами гражданина, может быть избран на всём пространстве Республики. Каждый депутат принадлежит всей нации.

В своём изложении мотивов Эро-Сешель поднял вопрос, который с тех пор живо обсуждался и обсуждается по сей день. Следовало ли законом установить избирательные округа, избирающие каждый по одному депутату, или предоставить каждому кандидату пользоваться всеми голосами, полученными им на всём пространстве Республики? Докладчик высказывался по этому пункту так: «Чтобы познать общую волю, которая, по строгости принципа, неделима, мы желали бы, чтобы было возможно произвести одно-единственное голосование для всего народа. Но при физической невозможности этого добиться, исчерпав все комбинации и всевозможные способы, придётся, как и мы, вернуться к самому простому и естественному средству: оно состоит в том, чтобы избирать одного депутата от каждого объединения кантонов, образующего население в пятьдесят тысяч душ».

Эта идея соединить в одном подсчёте голоса, поданные в разных департаментах за одного и того же кандидата, не была вновь поднята при обсуждении статей; ограничились тем, что понизили с пятидесяти тысяч до сорока тысяч число жителей, необходимое для образования избирательного округа.

## II

В вопросе об издании законов монтаньярский проект, казалось, хотел состязаться в популярности с жирондистским планом; как и его предшественник, он предлагал выносить на утверждение народа, собранного в первичных собраниях, не только конституцию, но и все сколько-нибудь важные законы. Эта часть жирондистского труда не прошла испытания парламентским обсуждением; соответствующие статьи в работе Комитета общественного спасения дали повод к прениям, которые в разных формах возобновлялись несколько раз в течение двенадцати дней, посвящённых возведению этого памятника бессилия его создателей.

Верные последователи доктрин Жан-Жака Руссо, республиканцы всех оттенков исповедовали в то время слепое уважение к воле народа. Они полагали, что воздают почести этому суверену, призывая его высказываться в почти постоянно действующих комициях по почти непрерывной череде плебисцитов: именно это они понимали под прямым управлением страны самой страной. За полвека мы успели убедиться в действительной действенности и нравственной ценности этого изобретения; мы знаем, что думать о тех приманках, которые оно в себе заключает, о той лжи, которую оно прикрывает, о тех насилиях, которым оно слишком часто должно служить амнистией. Но в ту эпоху ещё не были пресыщены этими обращениями к нации, которые, по выражению одного историка, чьё суждение не может быть заподозрено, душат народный суверенитет между двумя слогами[5].

Эро-Сешель в своём докладе выдвинул такой принцип: «Депутат облечён двойным характером: он является уполномоченным в отношении законов, которые должны быть предложены на утверждение народа; он будет представителем лишь в отношении декретов; из этого следует, что французское правительство является представительным лишь во всём том, чего народ не может делать сам».

В прениях Робеспьер пошёл дальше этой идеи, развив её. «Члены законодательного корпуса, — говорил он на заседании 16 июня, — суть уполномоченные, которым народ дал первую власть; но в точном смысле слова нельзя сказать, что они его представляют. Законодательный корпус предлагает законы и издаёт декреты. Законы приобретают характер законов лишь тогда, когда народ формально их принял. До тех пор они лишь проекты. Декреты исполняются до представления их на утверждение народа лишь потому, что предполагается, что он их одобряет. Если он не возражает, его молчание принимается за согласие. Невозможно, чтобы у правительства был иной принцип, кроме выраженного или молчаливого согласия нации; но ни в каком случае суверенная воля не представляется; она лишь предполагается. Уполномоченный не может быть представителем; это злоупотребление словами, и во Франции уже начинают избавляться от этого заблуждения».

Дюко отвечал Робеспьеру: «Я утверждаю, вопреки мнению предыдущего оратора, что воля народа может быть представляема; без этого законное правительство существовало бы лишь при чистой демократии. Вы сами себе противоречите, когда допускаете, что Законодательное собрание может издавать декреты, которые будут временно исполняться. Они могут исполняться лишь при предположении, что они выражают общую волю, лишь при предположении, что Законодательное собрание представило эту волю. По конституции 1790 года национальные собрания были, если можно так выразиться, абсолютно представительными, поскольку законы и декреты исполнялись без утверждения народом. Неужели вы хотите переменить все принципы в вашей новой конституции?»

Эти доводы, хотя и отмеченные здравым смыслом, не изменили мнения Комитета общественного спасения. Ловкачи Горы хорошо знали, что облачают народ чисто призрачной властью и что, делая вид, будто оставляют ему многое решать, они на деле лишают его всяких действительных прав. Одним словом, как и многие другие составители конституций, они одной рукой давали, а другой отбирали.

Систему Комитета можно понять, лишь сопоставив друг с другом несколько статей, рассеянных по трём или четырём разным главам. Будет видно, что последняя оговорка сводит на нет все предыдущие.

Народ-суверен есть совокупность французских граждан. Он обсуждает законы.

Законодательный корпус предлагает законы и издаёт декреты. В первичных собраниях голоса по законам подаются словами «да» или «нет». Воля первичного собрания провозглашается так: «Граждане, собравшиеся в первичном собрании ....., в числе ..... голосующих, голосуют за или против большинством .....,».

Закон, принятый Законодательным корпусом, печатается и рассылается во все коммуны Республики под названием «Предложенный закон». Через сорок дней после рассылки предложенного закона, если в половине департаментов плюс одна десятая часть правильно образованных первичных собраний каждого из них не заявила возражений, проект считается принятым и становится законом. Если возражение поступило, Законодательный корпус созывает первичные собрания.

Кто не видит с первого взгляда, что это последнее положение статьи делало практически неосуществимым всякое возражение против закона? Закон мог самым серьёзным образом ущемлять интересы целого края — севера или юга, востока или запада, — законные жалобы двадцати или тридцати департаментов фактически сводились на нет так называемым молчаливым одобрением остальных частей Республики. Таким образом, по странной аномалии эта

конституция, полагавшая в населении единственную основу национального представительства, позволяла сорока трём наименее населённым департаментам навязывать несправедливый или вредный закон сорока двум наиболее населённым. По другому, не менее необъяснимому противоречию проект ограничивался тем, что объявлял, что каждое первичное собрание должно объединять не менее двухсот и не более шестисот голосующих, не предписывая минимального числа голосов, необходимого для действительности решения: из этого следовало, что первичное собрание из двадцати голосующих и другое, насчитывавшее несколько сотен, весили одинаково на избирательных весах. Это, надо признать, был довольно странный способ понимать систему народного суверенитета.

### III

Каковы были, согласно монтаньярской конституции, законодательные меры, которые, заслуживая названия законов, должны были представляться на выраженное или молчаливое утверждение всего французского народа?

Перечень их был огромен. Он охватывал всё, что касалось:

гражданского и уголовного законодательства;

общего управления обыкновенными доходами и расходами Республики;

национальных имуществ;

названия, веса, чекана и наименования монет;

характера, размера и взимания налогов;

всякого нового общего разделения французской территории;

народного просвещения;

публичных почестей памяти великих людей[6].

Не было ли насмешкой спрашивать по таким вопросам мнения двухсот крестьян из Оверни, Альп или Пиренеев, из которых едва ли кто умел читать?

Не было ли это мнимое освящение прав чистой демократии самым полным их отрицанием?

Все эти безумные утопии были приняты Конвентом без прений.

Лишь в одном пункте прямое обращение к народу могло казаться достаточно оправданным — но именно его Комитет и упустил. Он забыл определить, кому будет принадлежать право войны и мира.

Один довольно безвестный депутат по имени Азема[7] указал на этот пробел. «Если конституция, — сказал он, — требует утверждения народом актов, определяющих размер и взимание обыкновенных налогов, то тем более с народом надлежит советоваться, когда речь идёт о том, чтобы поставить под угрозу само его существование и всё его достояние. Во всех древних республиках народ обсуждал вопросы войны и мира. В первые века французской монархии с народом совещались на его собраниях на Марсовом поле».

Так вновь открылся важный спор, который тремя годами ранее, в мае 1790 года, волновал Учредительное собрание. Мирабо тогда защищал малопопулярный тезис о королевской прерогативе в вопросах войны и мира; в пользу своего мнения он ссылаясь на тайну, которой чаще всего должны быть окружены военные приготовления, на дипломатические переговоры, которым эти вооружения во всех случаях подчинены и которые вовсе не относятся к ведению собрания. В 1793 году речь уже не шла о том, чтобы оставить исполнительной власти право войны и мира; вопрос состоял в том, будет ли оно принадлежать Законодательному корпусу или народу, собранному в своих комициях.

Дюко возобновил доводы Мирабо, приспособив их к нынешнему положению. Он утверждал, что, когда территория под угрозой, правительство должно в интересах народа опередить агрессора и прежде всего отразить его без лишних формальностей.

«Станным уважением к суверенитету народа, — сказал молодой жирондист, — было бы терять время на испрашивание воли нации. Первый долг правительства в случае оборонитель-

ной войны — очевидно, предупредить нападение врага. Идёт ли речь о наступательной войне? тогда вопрос меняет точку зрения; но такая война более невозможна: разве конституция, которую вы сейчас обсуждаете, не говорит в явных выражениях, что французский народ не хочет более вмешиваться в управление другими нациями[8]? Разве мы не отказались торжественно от ведения войны из одного лишь стремления к завоеваниям? Я первый признаю, что оборонительная война по своей природе и своим мотивам может вестись наступательными военными планами. Если враг делает большие приготовления, если он накапливает запасы, если он собирает армии на своих границах, то в пределы законной обороны входит предупредить развёртывание его сил и перенести театр войны на его собственную территорию. Это мы и сделали в прошлую кампанию. Никому и в голову не приходило, что наша война была действительно наступательной. Однако она имела видимость таковой. Надлежит предоставить Законодательному корпусу самую большую свободу в этом отношении. Поскольку война должна вестись с величайшей быстротой и судьба кампании часто зависит от первых боевых действий, необходимо, чтобы ничто не замедляло операций. Наследственное честолюбие королей заставляло их предпринимать гибельные войны; народы были их собственностью; они стремились увеличить число подданных, расширяя свою территорию. Будут ли существовать эти нелепые побуждения в законодательном собрании, обновляемом каждый год, сила которого будет состоять не в числе покорённых провинций, а в доверии народа?»

Филиппо отвечал:

«Именно это положение будет с наибольшей жадностью воспринято соседними народами. Они почувствуют разницу между народом-рабом и свободной нацией. Наши короли и их дворы, скажут они, произвольно распоряжаются нашими жизнями и нашим достоинством. Мы видели, как кровь наших братьев лилась из-за семейного союза, из-за обещания брака. Французы, напротив, сами обсуждают вопрос о войне: они объявляют её лишь после того, как сами удостоверились в её необходимости».

Тюрио также оспаривал идеи Дюко:

«Хотите ли вы, чтобы нация могла быть истощена внешней и далёкой войной потому, что Законодательному корпусу вздумалось счесть незначительное происшествие, ссору между двумя экипажами оскорблением, за которое национальная честь требует отмщения? Хотите ли вы, чтобы сенат, сбитый с толку какими-нибудь интриганами, во имя достоинства или даже ложно понятой национальной гордости втянул нацию в бесполезную и гибельную борьбу? Всякая война, в которой под предлогом защиты собственности или права мы нападаем на соседнюю державу, действительно наступательна, хотя и может быть справедливой. Я требую, чтобы она была отнесена к числу законов и представлена на суд народа, который утвердит её на основании изложения мотивов, делающих её необходимой».

Заметьте, что если бы в вашей прежней конституции был подобный закон, вас бы не предали. Что произошло в прошлом году? Тиран добивался объявления войны, чтобы дать иностранным державам предлог подняться против нас. Он не хотел, чтобы его заподозрили в участии в их сговоре. Он использовал негодяя Дюмуре, который господствовал в совете; он использовал сообщников Дюмуре, которые господствовали в Собрании. Вспомните, что Робеспьер и самые энергичные патриоты тщетно боролись тогда против этой пагубной системы. Бриссо измыслил акты, которых не существовало; война была объявлена, а два дня спустя двор поздравлял себя с тем, что подкупом достиг своей цели: поставить нас, беззащитных, лицом к лицу со всеми державами Европы».

Жан Бон Сент-Андре повторил банальности, привычные всем приверженцам демагогии; если его послушать, царство народа должно было обладать свойством осуществлять все химеры аббата де Сен-Пьера.

«Французский народ никогда не нанесёт никакой обиды своим соседям. Никогда он не возьмётся за оружие с единственной целью завоеваний, потому что он сам так объявляет,

потому что он хочет своего спокойствия и счастья, утрата которых никогда не может быть возмещена расширением территории. Национальное отвращение к завоеваниям и несправедливым войнам, отвращение, укреплённое здоровым и нравственным воспитанием, будет таково, что война такого рода станет во Франции невозможной».

Дантон добавил: «Французский народ никогда не будет вести наступательной войны, хотя бы и нападал первым, ибо предупредить удар, который вам собираются нанести, не значит вести наступательную войну. Когда я вижу, что мой враг целится в меня, я стреляю первым и тем самым лишь защищаюсь. Если безопасность государства этого требует, правительство должно иметь возможность нанести врагу первый удар; но этот акт законной обороны, это начало военных действий не мешают тому, чтобы затем народ был созван для обсуждения необходимости окончить или продолжать войну. Поэтому я требую, чтобы объявление войны представлялось на народное утверждение».

Так и было решено. Параграф, разрешавший этот важный вопрос, был внесён в перечень собственно законов, причём Собрание не сочло нужным проводить различие между войной наступательной и оборонительной.

#### IV

Камень преткновения всякой республиканской конституции — это организация исполнительной власти. Если эта власть действует слишком ограниченно, если она на каждом шагу путается в помочах, если её бессилие наивно и открыто провозглашается, она с трудом влачится, пока не падёт под общественным презрением и всеобщим недоверием. Если же она, напротив, обладает слишком широкими полномочиями, если пользуется свободой движения без помех, если по своему усмотрению располагает в Париже, как и в департаментах, всеми действующими силами страны — армией, полицией, судом, администрацией, финансами, — она может в удобный для неё день обменять свою незаметную роль слуги на всевластие господина. Франции предстояло в скором времени на собственном опыте пройти этот двойной опыт: Директория привела к мятежу преторианцев; Консульство — к диктатуре цезаря.

Но не будем отвлекаться от нашего предмета и посмотрим, как глубокие законодатели, заседавшие в 1793 году в Комитете общественного спасения, предложили решить эту задачу. Они, правда, не стали тратить воображение; они ограничились тем, что взяли за образец правительство, которое худо-бедно действовало у них на глазах и одним из важнейших колёс которого были они сами.

Декретом Собрания, определившим их полномочия, членам Комитета было поручено наблюдать за всеми частями администрации; но посредством этого наблюдения, быстро превратившегося в настоящее руководство, они свели на нет министров и сделали из них простых приказчиков. Вдохновляясь мыслью о поглощении, которая в течение двух месяцев руководила всеми их действиями, они создали исполнительную власть по собственному образу и подобию, то есть в виде Совета, наблюдающего и направляющего общее управление. Министры, отодвинутые на второй план, лишённые даже своего звания, должны были стать простыми агентами, лишёнными права совещаться сообща и иметь между собой непосредственные сношения. Членов Комитета общественного спасения, составителей этого чудовищного проекта, было четырнадцать, что уже было слишком много; они решили, что Исполнительный совет, которому надлежало получить те же полномочия, что они себе присвоили, будет состоять из двадцати четырёх членов.

Они не увидели, что между их происхождением и тем, какое они предлагали дать Совету, была существенная разница. Они были простыми делегатами Конвента, без какого-либо собственного существования; они не имели иных полномочий, кроме тех, что Собрание дало им на время и могло отобрать в любой момент, обновив Комитет. По их проекту конституции Исполнительный совет, напротив, был порождением выборов; ибо хотя он и должен был назна-

чаться Законодательным корпусом, но из списка кандидатов, представленных избирательными собраниями[9].

Эро-Сешель старался оправдать предложения Комитета в таких выражениях:

«Теперь надлежит сказать вам об учреждении Исполнительного совета. Согласно нашему мнению о том, чтобы народ непосредственно и прямо избирал только своих депутатов и национальное жюри, мы не захотели, чтобы Совет получал своё поручение от первой ступени народной основы. Нам показалось, что избирательное собрание каждого департамента должно назначать одного кандидата для образования Совета и что министры-исполнители, наименованные главными агентами, должны избираться вне Совета, ибо не им входить в его состав. Совет есть промежуточный орган между представительством и министрами для гарантии народа: эта гарантия исчезает, если министры и Совет не разделены.

Народ не представляют при исполнении его воли: следовательно, Совет не несёт никакого характера представительства. Если бы он избирался общей волей, его власть стала бы опасной, ибо могла бы быть возведена в представительство вследствие одного из тех недоразумений, столь лёгких в политике; из этого мы заключили, что он должен избираться избирательными собраниями, с тем чтобы затем посредством другого способа было уменьшено число членов, если их окажется слишком много; из этого следует, что, поскольку достоинство будет принадлежать учреждению, а не людям, которые всегда ставят себя на место учреждений, Совет, таким образом подчинённый и отныне безопасный страж основных законов, содействует единству Республики сосредоточением правительства, тогда как само это единство может быть в свою очередь обеспечено лишь осуществлением общей воли и единством представительства. Счастливы мы будем, если таким простым способом сумели разрешить задачу Ж.-Ж. Руссо в „Общественном договоре“, когда он предлагал найти такое правительство, которое сжималось бы по мере того, как государство расширяется, и в котором всё подчинённое было бы устроено так, чтобы, укрепляя своё устройство, оно не искажало общее устройство»[10].

Все эти бредни не нашли в Собрании ни одного здравомыслящего человека, который опроверг бы их и воздал им по заслугам. Обсуждение этой главы коснулось лишь второстепенных деталей, мало достойных внимания, и не представило ни одного примечательного эпизода.

## V

Ещё более странной затеей, чем устройство исполнительной власти, было создание большого национального жюри. Четыре статьи имели целью организовать этот новый институт.

Ст. 1. Большое жюри учреждается для защиты граждан от угнетения со стороны Законодательного корпуса и Совета.

Всякий гражданин, притеснённый другим частным лицом, вправе к нему прибегнуть.

Ст. 2. Список присяжных составляется из одного гражданина, избираемого в каждом департаменте первичными собраниями.

Большое жюри обновляется каждый год вместе с Законодательным корпусом.

Ст. 3. Оно не назначает наказаний и передаёт дела в суды.

Ст. 4. Имена присяжных хранятся в урне в самом Законодательном корпусе.

Напыщенный докладчик Комитета так объяснял этот механизм, необходимый, по его словам, для величия суверена:

«Кого из нас не поражало часто одно из самых преступных умолчаний той конституции, от которой мы наконец освободимся? Публичные должностные лица ответственны, а первые уполномоченные народа всё ещё нет! Как будто представитель может отличаться чем-то иным, кроме своих обязанностей и ещё более строгого долга перед отечеством! Никакая жалоба, никакой суд не может его настигнуть. Постыдились бы сказать, что он останется безнаказанным: его называли неприкосновенным. Так древние освящали императора, чтобы его узаконить! Глубочайшая из несправедливостей, самая гнетущая из тираний повергли нас в ужас. Мы искали от неё средство в создании большого жюри, предназначенного мстить за гражда-

нина, притеснённого в своей личности, от возможных притеснений со стороны Законодательного корпуса и Совета, — трибунала величественного и утешительного, созданного народом в тот же час и в тех же формах, в каких он создаёт своих представителей, августейшего убежища свободы, где никакое притеснение не было бы прощено и где виновный уполномоченный не ускользнул бы ни от правосудия, ни от общественного мнения. Но учредить жюри и дать ему существование, параллельное вашему, было бы недостаточно; нам показалось великим и нравственным поставить в месте ваших заседаний урну, которая содержала бы имена, призванные загладить оскорбление, дабы каждый из нас непрестанно боялся, что они будут извлечены.

Сравним различие веков и учреждений. Некогда триумфатору на его колеснице о человеческой природе напоминал раб. Свободным людям, французским законодателям урна национального жюри явит все их обязанности».

По правде сказать, учреждение этого большого жюри, равно как и напыщенные комментарии Эро-Сешеля, находились в явном противоречии с двумя другими статьями, сформулированными несколькими строками выше в том же проекте; но, как известно, бывший генеральный адвокат Парижского парламента не был особенно щепетилен ни в логике своих идей, ни в постоянстве своих мнений.

Эти две статьи были составлены так:

Депутаты, представители народа, не могут быть преследуемы, обвиняемы или судимы ни в какое время за мнения, высказанные ими в Законодательном корпусе.

За уголовное деяние они могут быть задержаны на месте преступления; но приказ об аресте и приказ о приводе могут быть выданы против них лишь с разрешения Законодательного корпуса[11].

Когда эти две статьи поступили на обсуждение, один парижский депутат, старейшина Собрания[12], Раффрон дю Труйе, оспаривал их с величайшей горячностью.

«Положение, которое вам предлагают, — сказал он, — не что иное, как патент на безнаказанность для всех граждан, предающих интересы нации. Представитель не должен стоять выше верховного закона: блага народа. Разве не было бы позорно, если бы безнаказанность досталась тем, кто предлагал военное положение или департаментскую силу? Я требую, чтобы представители народа, которые, высказав в Собрании письменно или иначе противоположные мнения, не отреклись бы от них, а, напротив, стали бы их поддерживать, были обвинены самим Национальным собранием перед национальным жюри, которое объявит, что они утратили общественное доверие».

Базир говорил в том же смысле. «Разве невозможно, — сказал он, — чтобы представитель народа предложил уничтожить Республику и чтобы развращённое большинство собрания назначило себе тирана?»

«Народ здесь!» — крикнули ему несколько голосов.

«Я знаю; но следует ли поднимать его на восстание без необходимости? У вас нет иного прибежища, кроме учреждения большого национального жюри, которое вам было предложено».

Затем слово взял Робеспьер. Его речь, полная околичностей и оговорок, обнаруживает ум, раздираемый в противоположные стороны; в ней очевидна борьба между его обычным запасом ненависти и недоверия и сознанием принципов, которые он так долго исповедовал в пользу иммунитетов трибуны.

«Невозможно, — сказал он, — не отдать должного побуждениям, вдохновившим почтенного старца, который выступал передо мной на этой трибуне. Нет, без сомнения, гражданина, которого бы мучительно не поражала мысль, что часть представителей народа могла бы безнаказанно нарушать его права и злоумышлять с трибуны посредством коварного красноречия, не подвергаясь никакому наказанию.

Было бы желательно, чтобы подобное преступление каралось и не находило патента на безнаказанность в звании представителя, которого он сделал бы себя недостойным, в свободе мнений, которой он злоупотребил бы. Но трудность состоит в средствах его покарать. Кем вы заставите судить обвинённого представителя народа? Конституированной властью? Но разве невозможно, чтобы трибунал оказался столь же развращён, как и человек, который был бы ему предан? Разве не вероятно, что верный представитель будет предан этому трибуналу партией и интригой скорее, чем дурной депутат — волей добродетельных представителей?

Итак, нельзя, не разрушая, я говорю не только свободы мнений, но и самой свободы народа, отдавать одного из его представителей под суд конституированной власти. Следовательно, апеллировать можно только к самому народу. Я размышлял над этим предметом и нашёл его полным подводных камней. Мне думалось, что возможно было бы, чтобы в конце каждой легислатуры уполномоченные народа были обязаны отчитываться перед ним в своём поведении и чтобы он выносил не карательные наказания, а нравственный приговор, говоря: такой-то исполнил мои намерения, такой-то обманул мои надежды. Но в этом средстве я встретил множество трудностей. Я увидел, что если в одном месте вершится справедливость народа, то в другом господствует интрига и душит истину. Вот что помешало мне представить вам проект на этот счёт. Однако, чувствуя необходимость противопоставить какую-то преграду развращению, я требую, чтобы, принимая статью Комитета, вы передали ему мысли, которые я только что развил, дабы он представил вам свои соображения по этому поводу».

Конвент не разделил сомнений и колебаний Робеспьера. По настоянию Тюрियो он принял две статьи, представленные Комитетом.

Это решение позволяло предугадать участь, уготованную новшеству национального жюри, столь пышно превозносимому Эро-Сешелем. Действительно, когда на следующий день, 16 июня, четыре вышеприведённые статьи были поставлены на обсуждение, несколько депутатов поочерёдно поднимались на трибуну, требуя предварительного вопроса по всей этой части проекта.

«В этом деле, — сказал Тирион, — есть лишь один трибунал — общественное мнение. Народ всегда здесь. Он сумеет покарать своих уполномоченных за их преступления. Ваше национальное жюри может быть лишь пагубно для свободы; оно может лишь стеснять ход Законодательного собрания».

«Вы постановили, — добавил Тюрियो, — что законодательный корпус осуществляет суверенитет: смешно воздвигать рядом с ним высшую власть. Как! Восемьдесят пять человек, оставшихся в своих департаментах и, следовательно, не могущих знать поведение депутатов, станут распорядителями законодательного корпуса, который будет состоять из шестисот членов!»

Тщетно один из членов Комитета общественного спасения, Рамель, провозглашал этот институт палладиумом свободы; сам докладчик, Эро-Сешель, взялся нанести ему последний удар. Заявив, что эта идея национального жюри прекрасна, велика и благородна, он признал серьёзные опасности в существовании такого трибунала и поддержал предварительный вопрос, который и был принят без дальнейшего обсуждения. Только Бийо-Варенн и Робеспьер рекомендовали Комитету не отказываться полностью от своей идеи и поискать средства оградить свободу народа от всякого притеснительного акта со стороны законодательного корпуса. Верный этим советам, Комитет несколько дней спустя, 24 июня, вновь представил в иной форме злополучное предложение, которое уже дважды общий здравый смысл заставил отклонить.

Новая формула его системы была выражена в пяти статьях; прискорбно, что ни одна газета того времени не сохранила нам их текста.

«Учреждение жюри, — говорил на этот раз докладчик, — было отклонено; но остались согласны в том, что нужно найти средство оградить народ от угнетения со стороны Законодательного корпуса. Мы рассмотрели этот вопрос в двух отношениях. Когда общественное тело

угнетается Законодательным корпусом, единственное средство сопротивления — восстание; но организовать его было бы нелепо, ибо оно имеет разные характеры. У вас есть опыт; восстания прошлого года сильно отличались от последнего восстания. Первые были совершены силой; последнее началось петицией; видели, как народ покрыл крепом Декларацию прав, и наконец поднялся весь целиком. Итак, невозможно определить природу и характер восстаний; надлежит положиться на гений народа. Но есть другой случай — когда Законодательный корпус притеснял бы отдельных граждан; тогда эти граждане должны найти в народе средство сопротивления.

Глава, которую мы вам представляем, озаглавлена: „О цензуре народа над его депутатами и о его гарантии против угнетения со стороны Законодательного корпуса“. Мы предлагаем вам поручить той части народа, которая избрала депутата, судить о его поведении, и мы добавили, что депутат может быть переизбран лишь после того, как его поведение будет одобрено его доверителями. Этот способ мы почерпнули в самом принципе национального представительства. Действительно, ничто не соответствует ему более, чем судить депутатов тем же способом, каким они были избраны».

Перед этим превращением национального жюри Тюрио возобновил свои прежние возражения: «Вы решили, — сказал он, — что представитель принадлежит всей нации. Зачем же отдавать его под суд одной части народа? Об одних людях судит только общественное мнение. Если бы ваш проект был принят, вы увидели бы, как департаменты, сбитые с толку интриганами, осуждают добродетельных депутатов и оправдывают тех, кто их предал».

Лакруа добавил довод, почерпнутый из обстоятельств момента:

«Когда патриоты Конвента, — сказал он, — были угнетаемы тираническим большинством, если бы Марсель и Вандея судили своих депутатов, эти департаменты наверняка объявили бы, что разоблачённые вами заговорщики хорошо послужили отечеству, а другие, действительно желавшие блага народу, недостойны заседать в этом собрании».

Довод был неопровержим. Тщетно Раффрон и Дартигойт пытались защищать статьи, повторяя объяснения Эро-Сешеля; слово Лакруа попало в цель. Гора испугалась, как бы эта грозная цензура, придуманная сегодня против её врагов, не обратилась рано или поздно против её собственных приверженцев. Будучи искуснее Жиронды, она не совершила ошибки и не положила в арсенал законов обоюдоострое оружие, которым когда-нибудь могли бы воспользоваться против неё самой.

Что осталось в Конституции от всех этих проектов национального жюри, цензуры и гарантий? Ничего. Где была та преграда, которую Комитет общественного спасения дважды объявлял необходимой? Нигде. Как защиту свободы Шабо нашёл лишь гильотину, Эро-Сешель — лишь восстание: два одинаково отвратительных средства.

Что сказать о людях, которым нечего предложить народу, кроме такой панацеи? Они украшали себя званием законодателей, но на деле были лишь эмпириками, применявшими в большом масштабе знаменитую максиму всех себе подобных: *Faciamus experientiam in anima vili*.

## VI

Проект Комитета общественного спасения содержал лишь одну статью о налогах; она была составлена так:

Никакой налог не устанавливается, не распределяется и не взимается, никакой расход не производится иначе как в силу предварительного акта Законодательного корпуса.

Левассёр прежде всего требует закрепления двух основных принципов:

что нельзя требовать никакого налога с того, кто имеет лишь самое необходимое;

что налог прогрессивен в зависимости от богатства.

Странное дело! Против предложения Левассёра выступил монтаньяр Фабр д'Эглантин; его своевременность отстаивал жирондист Дюко.

Инициатива этой идеи принадлежала Робеспьеру, который высказал её двумя месяцами ранее при обсуждении плана Кондорсе; но в его глазах она была лишь боевым оружием, и, как только его противники были побеждены, он поспешил от неё отказаться.

«Я на мгновение разделял, — сказал он, — заблуждение Дюко; кажется, я даже где-то его изложил письменно[13]; но я возвращаюсь к принципам. Меня просвещает здравый смысл народа, который чувствует, что предлагаемая ему милость — лишь оскорбление. В самом деле, если вы декретируете, особенно конституционно, что нищета освобождает от почётной обязанности участвовать в нуждах отечества, вы декретируете унижение самой чистой части нации; вы декретируете аристократию богатств, и вскоре вы увидите, как эти новые аристократы, господствуя в законодательных собраниях, с одиозным макиавеллизмом заключат, что те, кто не платит податей, не должны и пользоваться благодеяниями правительства. Установился бы класс пролетариев, класс илотов; равенство и свобода погибли бы навсегда. Не отнимайте у граждан того, что им всего нужнее, — удовлетворения принести Республике лепту вдовицы. Вместо того чтобы вписывать в конституцию одиозное различие, надлежит, напротив, закрепить в ней почётную обязанность каждого гражданина платить свои налоги.

Народно и справедливо то, что закреплено в Декларации прав: общество должно предоставлять необходимое всем своим членам, которые не могут добыть его своим трудом. Я требую, чтобы этот принцип был внесён в конституцию, чтобы бедняк, который должен обол для своего налога, получал его от отечества, дабы внести обратно в государственную казну».

Эро-Сешель, который, по странному толкованию своей роли докладчика, полагал свою славу в том, чтобы отречься от идей, которые ему поручено защищать, и присваивать те, что неожиданно приносили на трибуну корифеи демагогии, тотчас заявляет, что отказывается от статьи Комитета, и формулирует мысль Робеспьера в таких выражениях:

Ни один гражданин не освобождается от почётной обязанности участвовать в общественных расходах.

Эта редакция принимается. Робеспьер требует тогда, чтобы дополнение его мысли было внесено в Декларацию прав. По его настоянию и настоянию Кутона Конвент передаёт в свой Комитет рассмотрение этой оригинальной системы, в силу которой некоторые налогоплательщики, чтобы сохранить своё достоинство членов суверенного народа, получали из государственной казны тот обол, который должны были мгновение спустя внести обратно в эту же казну. Комитет, скажем прямо, не смог решиться войти в подобные тонкости и, проявив искусную медлительность, устроил так, что вопрос больше не поднимался[14].

Свобода культов стала предметом обсуждения, гораздо менее пространныго, чем то, что состоялось двумя месяцами ранее[15]. Фонфред требовал, чтобы конституция гарантировала эту свободу прямо выраженным образом. Левассёр возражал. «Французский народ, — сказал он, — не признаёт иного культа, кроме культа свободы и равенства».

У Барера в тот день было доброе побуждение.

«Я не суеверен и не ханжа, — ответил он монтаньяру-хирургу, — но полагаю, что свободно отправлять свой культ входит в права человека».

Барер в поддержку своего мнения сослался на конституцию Соединённых Штатов. Затем слово взял Робеспьер; но он избежал оспаривать этот авторитет, который, разумеется, стоил любого другого. Подчиняясь тому подозрительному духу, который заставлял его повсюду видеть лишь заговоры и заговорщиков, он дал себе полную волю, заявив, что свобода культов годится лишь для того, чтобы маскировать губительные для свободы заговоры и благоприятствовать контрреволюционным сообществам; он заключил требованием мотивированного перехода к порядку дня на том основании, что принцип свободы мнений уже закреплён в Декларации прав.

Это значило ставить религиозные вопросы в один ряд с теми, что поднимают политика, администрация или финансы; это значило уравнивать божественное и человеческое; но Собра-

ние, которому предстояло несколько времени спустя, по предложению того же Робеспьера, признать Верховное существо и бессмертие души, не останавливалось на подобных соображениях. Мотивированный переход к порядку дня был принят без прений.

## VII

Лишь одна глава монтаньярского проекта удостоилась привилегии сколько-нибудь серьёзно занять внимание Собрания. Это была глава о гражданском правосудии и о юрисдикции, которую надлежало установить в этой области. Законодатели несколько раз возвращались к ней в относительно углублённом обсуждении.

По этому поводу произошла странная перемена ролей между двумя самыми знаменитыми деятелями Революции. Робеспьер защищал традиции прошлого; Камбасерес нападал на них. Робеспьер отстаивал сохранение института, действующего и поныне, — судей, выносящих решения по гражданским делам и в вопросах факта, и в вопросах права; Камбасерес предлагал заменить его жюри — радикальное новшество, которое он, правда, остерегся воспроизвести, когда при Консульстве ему было поручено руководить установлением нашего современного права: иные времена, иные вдохновения.

Камбасерес развивал идеи, высказанные Дюпором в 1790 году и Кондорсе в 1792-м. Он старался доказать, что благодаря уничтожению феодальных прав, отмене субституций, недавно принятой Собранием отмене права завещания по прямой линии гражданским судам останется разрешать лишь легко понятные, ещё легче улаживаемые вопросы факта, которые, следовательно, могут решаться присяжными.

Робеспьер признал всю важность спора, исход которого должен был, по его словам, оказать почти решающее влияние на судьбу конституции. Но он не верил, что во Франции ещё долго удастся настолько упростить гражданское законодательство, чтобы можно было практически прибегнуть к институту жюри в этой области. Друг Робеспьера Кутон заявил, что проект Камбасереса — лишь прекрасная мечта. Сам Марат осудил эту идею.

«Система арбитража, — сказал он, — превосходна; она связана с чистотой принципов, но годится лишь для простой нации, чьи нравы не страшатся развращения, продажности или интриг. У нас вы увидите, как в этом учреждении возродятся все злоупотребления, о которых вы скорбите, ибо арбитрами никогда не будут два крестьянина, а два образованных человека, которые, как их ни назовите, будут законниками. Нет ничего почтеннее честных судей. Если хотите их получить, карайте лихоимство и продажность; придайте суду большую гласность. Впрочем, суды нужны; нужны суды для торговли, с беспримерной быстротой; нужны суды для полиции, у которых глаза всегда открыты для злоумышленников».

На этот раз Марат говорил как здравомыслящий человек; но Собрание от этого ничего не выиграло, ибо другой монтаньяр взялся заменить друга народа в его привычной роли. Это был Герман, выступивший с фантастическим предложением создать, по его выражению, малый санкюлотский трибунал, где правосудие отправлялось бы бесплатно, то есть за счёт государства. Его доводы были удивительны: «Нужны, — говорил он, — суды, где господствует здравый смысл, как нужны и такие, где господствует знание; благодаря этому, — добавлял он, — машина пошла бы превосходно». Шабо и Барер не преминули воспользоваться прениями, чтобы вновь развернуть свои буколические теории. Шабо уверял, что нет и не может быть иного законодателя, кроме природы; Барер нарисовал пасторальную картину мира и согласия, которые обязательный арбитраж прольёт во все хижины, сделав каждого гражданина поочерёдно судьёй и подсудным и навсегда устранив свору судебных воронов.

Эта ораторская борьба завершилась заявлением Комитета общественного спасения, который объявил систему присяжных по гражданским делам неосуществимой и добился утверждения института судей, ежегодно избираемых народом с открытой подачей голосов. Благодаря такому способу назначения и такому способу сбора голосов демагоги, без сомнения, надеялись господствовать над новым судебным порядком. Не в этом ли, в самом деле, заклю-

чалась та тайная пружина, которая руководила в этом случае поведением Робеспьера, Кутона и Марата?

Другое важное положение монтаньярского проекта было составлено так:

Французский народ не заключает мира с врагом, занимающим его территорию.

«Такие статьи, — заметил Мерсье, остроумный автор „Картины Парижа“, — пишутся или стираются остриём меча. Неужели вы льстите себя надеждой всегда побеждать? Разве вы заключили договор с победой?»

«Нет, — воскликнул Базир, — мы заключили договор со смертью».

«То, что вам предлагают, — добавил Барер, — уже было декретировано в Лонгви и Вердене».

И статья была принята под восторженные рукоплескания Собрания.

Мерсье, к несчастью, был слишком прав; трижды менее чем за шестьдесят лет Франция могла вспомнить его пророческий крик недоверия. Трижды — в 1814, в 1815, в 1871 годах — цезаризм, порождённый у нас отвращением к демагогии, приводил чужеземца в самое сердце нашего отечества и стоил нам не только всех тех завоеваний, которые в час опьянения мы объявили неотъемлемыми частями нашей территории, но и двух провинций, которые двойное вековое владение и единодушное согласие населения, казалось, делали неотделимыми членами нашей страны.

Вопреки тому, что сделало Учредительное собрание, Конвент голосовал по Декларации прав уже после того, как принял весь конституционный акт. В торжественный момент, когда председатель окончательно поставил эту декларацию на голосование, вся правая нарочно воздержалась. Тотчас с Горы раздаются крики, требующие поимённого голосования.

«Весьма удивительно, — говорит Бийо-Варенн, — что члены национального Конвента отказываются голосовать за эту декларацию, которая должна утвердить во Франции свободу. Народ должен знать людей, которые желают его счастья, и тех, кто, кажется, уже протестует против шедевра человеколюбия».

«Декларация прав, — замечает Робеспьер, — чтобы быть принятой народом, нуждается лишь в принципах, которые в ней заключены, и в согласии почти всего национального Конвента. Я удивляюсь, что заметили, будто несколько граждан, заседающих вон там, — и презрительным жестом он указал на правую сторону, — остались неподвижны и не разделили нашего воодушевления. Этот приём нескольких лиц показался мне столь необычайным, что я не могу поверить, будто они исповедуют принципы, противоположные тем, что мы закрепляем; мне приятно убеждать себя, что если они не поднялись вместе с нами, то скорее потому, что они парализованы, нежели дурные граждане».

После этих слов, в которых Робеспьер выказал себя целиком, Собрание переходит к порядку дня и принимает Декларацию прав.

Все конституционные власти департамента Парижа, предупреждённые заранее, являются тогда к решётке, чтобы принести поздравления законодателям.

Дюфурни от имени департамента, Шометт от имени Коммуны, один из судей от имени судов поочерёдно поют дифирамбы в честь только что принятой конституции.

«Парижане, — восклицает Дюфурни, — поздравляют себя с тем, что первыми видят восход светила свободы, первыми возвещают его зарю, первыми, наконец, празднуют утро великого дня вечного братства всех людей. В сиянии этого светила померкнули пагубные отблески факелов раздора. Под клики целого свободного народа растерянные роялисты бросят оружие, и колоссальный змей раздавленного фанатизма испустит последнюю судорогу».

Шометт пользуется случаем, чтобы цветистыми словами напомнить о недавней победе Коммуны и нагло наступить на поверженного врага.

«Народ, — говорит он, — теперь ясно отличит тех из своих представителей, которые, верные самому священному из своих долгов, постоянно защищали его дело, от тех, кто, объявляя

себя сегодня заговорщиками и изменниками, лишь сбрасывают маску, которая им больше не нужна... Они блуждают теперь по земле Республики, эти трусы или, вернее, изменники, покинувшие работу до конца дня и повсюду распространяющие, что вы несвободны... Вы несвободны! А между тем с тех пор, как эту клевету разносят, из ваших рук вышли лучшие законы, были приняты величайшие и мудрейшие меры для спасения народа, наконец, конституция, конституция завершена! Так ли работают рабы? Тщетно некоторые из тех, о ком мы здесь говорим, подобно ночным птицам, будут укрываться в готических башнях..., тщетно под покровом тьмы будут издавать зловеющие крики..., солнце истины будет преследовать их своими мстящими лучами. Эти страшные для изменников слова: „конституция завершена“, будут греметь со всех сторон вокруг них. Вы будете отомщены».

Представитель судебных органов добавляет лишь одну метафору ко всем образам, нагромождённым в двух предыдущих речах; но эта метафора одна стоит целой поэмы: «Нашим единением, — говорит он, — мы образуем вокруг вас несокрушимую скалу. Куда бы по ней ни ударили, из этой скалы брызнет огонь патриотизма, который испепелит гадюк ярости и недоброжелательства»[16].

Затем слова по порядку ведения просит Бийо-Варенн: «Конвенту остаётся, — говорит он, — ознаменовать этот славный день народным и благотельным декретом: отменой закона о военном положении. Этот закон может быть полезен лишь тиранам, и в день, когда вы провозглашаете народную конституцию, этот кровавый закон должен исчезнуть. Сделайте так, чтобы сегодня граждане в своём братском собрании могли сказать: поле федерации больше не будет обогрено кровью патриотов».

Живые рукоплескания встречают это предложение; они усиливаются, когда Конвент поднимается, чтобы его принять.

Один из членов парижской депутации, допущенный к решётке, просит представить петицию от имени секции Гравилье; но Робеспьер возражает; он хочет произнести последнее слово этого театрального заседания; он хочет завершить его одним из тех движений расчётливой чувствительности, в которых он непревзойдённый мастер. «Нужно, — говорит он, — чтобы умы граждан и умы Конвента остались сегодня устремлены на те трогательные и возвышенные мысли, что были представлены конституционными властями от имени граждан Парижа. Предадимся утешительному чувству, которое они внушают; предадимся завершению Конституции. Этот день — национальный праздник; пока народ клянётся во всеобщем братстве, будем здесь трудиться для его счастья». К несчастью для окончательного эффекта, докладчик не был готов к последнему торжественному чтению всего конституционного акта; после столь быстрого и, можно сказать, столь порывистого обсуждения статьи нуждались в согласовании. Эроссель объявляет, что сможет прочитать Конституцию лишь завтра в час дня; но он одновременно добавляет: «Поскольку ничто не должно отсутствовать в этом счастливом дне, я требую закрыть заседание и смешаться с нашими братьями и друзьями». Это предложение встречается с восторгом, и, прежде чем разойтись, в честь народа устраивается последняя демонстрация. Депутации конституционных властей получают разрешение пройти перед Собранием. Муниципальные должностные лица всех коммун департамента устремляются в амфитеатр; граждане, разделённые на легионы и предшествуемые барабанами, проходят через зал под восторженные крики: «Да здравствует Республика! Да здравствует Гора! Да здравствует 31 мая!» Затем Конвент переносится на Марсово поле, чтобы присутствовать на приготовленном гражданском празднике.

На следующий день при открытии заседания Давид, великий устроитель всех церемоний такого рода, приходит отчитаться об официальной радости, проявленной народом и вооружённой силой, собравшимися на поле федерации. Вот несколько мест из речи, произнесённой по этому случаю будущим первым живописцем Его Величества императора и короля:

«Как передам я вам живые волнения этого великодушного народа, сжимавшего в благодарных объятиях добродетельных депутатов, которые безраздельно обрекли себя смерти, лишь бы не предать его интересов?

Я видел, как текли твои слёзы, великодушный народ, не скрывай их; они делают честь твоему мужеству. Ахилл тоже плакал, римляне плакали. Людоеды, с которыми тебя сравнивали, не плачут. Под единодушные крики „Да здравствует Республика!“ раздор на мгновение погасил свой факел; он обеими руками задушил змей, прятавшихся в его отвратительных волосах, чьё шипение могло бы его выдать; он бежал. Марсово поле было полно истинных республиканцев, матерей семейств, которые своим примером давали детям первые уроки добродетели. Трижды обошли они вокруг алтаря отечества, воспевая святыне гимны свободе, трижды народ отвечал на эти звуки, столь дорогие его сердцу. Мэр города Парижа огласил декрет, отменявший гнусный закон о военном положении. На этот голос, дорогой республиканцам, народ, благословляя представителей, отвечал: „Да здравствует Конвент! Да здравствует свобода!“»[17]

Рассказу Давида рукоплещут. Эро-Сешель излагает изменения, которые Комитет общественного спасения внёс в свой труд ещё в последний час. Собрание после довольно короткого обсуждения отклоняет часть этих новых поправок; затем, торопясь покончить, голосует вставанием и сидением за Конституцию в целом.

24 июня в шесть часов вечера бывший комедиант Колло д'Эрбуа, занимавший тогда председательское кресло, провозгласил окончательное принятие этого шедевра, в котором условились видеть последнее слово современной философии, но который на деле был лишь тканью общих мест, смешанных с неосуществимыми мечтаниями. Известно, впрочем, что Конституция 1793 года никогда не применялась. Партийное орудие, произведение обстоятельств[18], она умерла, не успев родиться, и сам Конвент отступил перед мыслью привести в движение безжизненную машину, колесо без двигателя, которое, при всей своей демократичности, вело прямо к диктатуре[19]. Чему тут удивляться? Во все времена — ещё вчера мы имели тому доказательство — демагогия оказывалась бессильной облечь в стройную доктрину свои самые дорогие мнения, и, по признанию даже самых авторитетных писателей республиканской партии, творение 1793 года останется в истории лишь для того, чтобы свидетельствовать перед миром о кровавом безумии монтаньярской утопии [20].

## Примечания:

[1] Книга XXXVII, «Жирондистская конституция».

[2] Мы уже сообщали, в томе VII, книга XXXIV, § III, состав первого Комитета общественного спасения; пять новых членов, добавленных в него для изготовления новой Конституции, были Эро-Сешель, Кутон, Сен-Жюст, Рамель и Матьё. Эро был личным другом Дантона; Сен-Жюст и Кутон — приверженцами Робеспьера; два других члена обладали довольно обширными познаниями: Рамель — в финансах, Матьё — в законодательстве.

[3] Доклад Эро-Сешеля приведён полностью в № 267 «Journal des Débats et Décrets»; он воспроизведён Бюше и Ру в их «Histoire parlementaire», том XXVIII, с. 177.

[4] «Moniteur» искажает его имя: называет его Домоном.

[5] Луи Блан, том IX, с. 16.

[6] Г-н Луи Блан, также приведя этот перечень, справедливо добавляет: «Право, предоставленное народу, будучи неосуществимым, было, очевидно, призрачным».

Histoire de la Révolution, том VIII, с. 18.

[7] «Moniteur» не называет имени депутата, поднявшего это важное обсуждение. Мы нашли его в «Journal des Débats et Décrets», № 272, с. 247.

[8] См. ст. 119 Конституции 1793 года.

[9] Писатели, которые до нас рассматривали Конституцию 1793 года, как нам кажется, недостаточно отметили эти черты сходства между организацией Комитета общественного спасения и той, которую тот же Комитет предлагал в своём плане для Исполнительного совета.

Чтобы наши читатели могли сами судить о справедливости наших утверждений, приведём положения Конституции 1793 года в редакции Комитета:

Ст. 62. Существует Исполнительный совет из двадцати четырёх членов.

Ст. 63. Избирательное собрание каждого департамента назначает одного кандидата. Законодательный корпус выбирает членов Совета из общего списка.

Ст. 64. Он обновляется наполовину при каждой легислатуре в последние месяцы сессии.

Ст. 65. Совет ведает руководством и надзором за общим управлением. Он может действовать лишь во исполнение законов и декретов Законодательного корпуса.

Ст. 66. Он назначает вне своей среды главных агентов общего управления Республики.

Ст. 68. Эти агенты не образуют Совета; они разделены, не имеют между собой непосредственных сношений; они не осуществляют никакой личной власти.

Ст. 74. Члены Совета в случае лихоимства обвиняются Законодательным корпусом.

Ст. 75. Исполнительный совет пребывает при Законодательном корпусе. Он имеет доступ и отдельное место в месте его заседаний.

Ст. 76. Он заслушивается всякий раз, когда должен дать отчёт.

Ст. 77. Законодательный корпус призывает его в свою среду целиком или частично, когда сочтёт это уместным.

[10] См. Ж.-Ж. Руссо, «Общественный договор», книга II, гл. XI.

[11] Это последнее положение было дословным воспроизведением статьи 8, раздела III, главы I, отделения V Конституции 1791 года.

[12] Раффрон дю Труйе родился в 1709 году. Следовательно, ему было 83 года, когда он был избран в национальный Конвент. Он пережил революционную бурю.

[13] Это мнение он публично высказывал 21 апреля у якобинцев и 24-го в Конвенте. См. том VII, книга XXXVII, «Речь Робеспьера от 24 апреля 1793 года».

[14] Одно достойное внимания обстоятельство, как нам кажется, ускользнуло от историков, занимавшихся до нас Конституцией 1793 года и прениями, которые она вызвала. А именно: по вопросу о том, должен ли неимущий быть освобождён от всякого налога, Конвент

формально опроверг сам себя менее чем за неделю. В самом деле, 9 июня, накануне того дня, когда Эро-Сешель читал свой доклад, вопрос уже был поставлен и решён утвердительно, как это засвидетельствовано в протоколе заседания. Вот как он гласит:

«Один из членов предлагает, после весьма интересного доклада, декретировать в принципе, что всякий человек, не имеющий никакой собственности, не платит никакого налога за пользование своими правами.

Другой член предлагает, чтобы это предложение было не только декретировано, но и внесено как неизменный принцип в Конституцию.

Вследствие чего было постановлено, что безусловно необходимое для пропитания граждан освобождается от всякого налога.

Передано в Комитет общественного спасения для включения статьи в Конституцию, а также в Комитет финансов».

Комитет совершенно не принял во внимание этой передачи, а Собрание, со своей стороны, по-видимому, совершенно утратило о ней память, поскольку 17 июня проголосовало в диаметрально противоположном смысле. Впрочем, оно лишь подражало в этом самому Робеспьеру.

[15] См. том VII, книга XXXVII, «Обсуждение свободы культов».

[16] Так называемые народные изъятия прибавили в последующие дни к официальным речам свою долю революционного цинизма. Наугад возьмём две речи, произнесённые у решётки Собрания при голосовании Конституции: одну — от имени детской депутации мальчуганом лет десяти, другую — цветочницами рынка.

«Председатель,

во имя Республики я подношу тебе эти цветы;

дитя этой единой и неделимой Республики, я клянусь защищать её и сокрушить тех, кто осмелился бы её возмутить; у меня есть на это мужество, и от неё я жду силы».

Национальному Конвенту.

«Граждане законодатели,

гражданки-цветочницы разных секций Парижа, республиканки, чьи супруги или дети проливают в эту минуту свою кровь за защиту отечества, являются в вашу среду, чтобы поздравить вас со счастливыми трудами.

Наши руки, привыкшие плести цветы для украшения прелестей гражданок, украшающих ваши общества, никогда не свивали венков для деспотов и тиранов; но с чувством самой живой любви они сорвали с дуба его листву, чтобы принести вам гражданские венки как залог нашей радости.

Эту дань, которую мы вам приносим, граждане, мы расточаем не без разбора, ибо нас не видят бегущими к людям, вознесённым на должности, чтобы навязывать им букеты, подносимые скорее корыстью, нежели братством и доверием. Нет, спокойные на своих местах, мы бдительно занимаемся честной торговлей и возвратимся, полные удовлетворения, к своим обязанностям матерей и супруг».

[17] Чтобы дополнить рассказ об этом празднике, приведём выдержки из полицейского донесения, направленного министру внутренних дел 24 июня. Этот конфиденциальный документ составляет довольно странный контраст с официальным отчётом Давида.

«Толпа была невелика. Народ больше не устремляется смотреть праздники; всё было спокойно и безмолвно.

Генерал-адъютант и его три адъютанта составляли голову шествия; затем следовал пикет конной жандармерии, затем пешие жандармы, затем женщины, затем канониры и другие добровольцы, затем снова женщины, затем снова канониры.

Я в жизни не видел ничего более унылого; все, бедные и богатые, казались пресыщенными. Я не слышал ни единого крика „Да здравствует нация!“, „Да здравствует Республика!“ Народ смотрел на шествие примерно так, как некогда смотрел на похоронную процессию».

[18] Луи Блан, т. IX, с. 20 и 22.

[19] Мишле, «Histoire de la Révolution», т. VI, с. 155 и 157.

[20] Г-н Марк-Дюфресс, «Du droit de paix et de guerre», с. 105.

## КНИГА XLIII. — СОПРОТИВЛЕНИЕ ДЕПАРТАМЕНТОВ.

I. Местное восстание против якобинской тирании предшествует в Лионе присоединению к общему движению сопротивления. — II. Живость протестов Марселя и Бордо: медлительность их приготовлений. — III. Конвент, со своей стороны, тянет время с восстанием в Кальвадосе. — IV. Представитель Кубе заключён в аббатство за то, что одобрил федералистский адрес. — V. Взаимное бегство республиканских и департаментских сил под Паси. — VI. Конец нормандского восстания и причины его неудачи.

### I

Конституция была утверждена почти единогласным голосованием первичных собраний. Не то чтобы требовалась большая проницательность, чтобы заметить заключающиеся в ней во множестве противоречия и несообразности; но повсюду на это закрывали глаза, потому что прежде всего хотели покончить с этим делом. Надеялись, что, как только Конституция будет принята, Конвент разойдётся сам собой и страна будет призвана решить между партиями, которые её разделяли; льстили себя надеждой, что одно лишь появление нового собрания рассеет ненависть, оттеснит смутьянов, смирит Парижскую коммуну и приведёт за собой эпоху успокоения и примирения. Это — род иллюзии, которой Франция подвержена. Но демагоги вовсе не желали отречься от власти; они были полны решимости идти прямо на своих противников и душить их без пощады и без передышки. Их девизом были слова, которые Вольтер вкладывает в уста Магомета:

Меч и Коран в моих кровавых руках

Заставят умолкнуть остальное человечество[1].

В течение всего июня Гора действует осмотрительно. Она занимается исключительно изготовлением Конституции и сбором войск. Пока она не готова, она отвечает на протесты департаментских властей лишь декретами или ограничивается тем, что тайно рассылает эмиссаров с мирными речами. Она не действует, она угрожает. В начале июля её тактика меняется: она отдаёт своим комиссарам и генералам приказ силой подавить то сопротивление, которого не удалось разложить хитростью.

Мы не станем составлять по департаментам и городам утомительный перечень всех выступлений, вспыхнувших одновременно на западе и юге Франции при известии о государственном перевороте 2 июня. Несмотря на энергию протестов первого часа, эти попытки почти нигде не дали серьёзных результатов. За жалобами и сожалениями в большинстве местностей быстро последовало молчаливое согласие с волей Горы, и жирондистские администраторы мало-помалу слагали с себя должности, ища в уединении убежища от мщения противников. Это малодушие не должно было их спасти. Несколько месяцев спустя, когда господство демагогии окончательно утвердилось, их выслеживали в их укрытиях. Многие были брошены в тюрьмы и преданы либо парижскому Революционному трибуналу, либо одной из тех кровавых сессий, что открывались в провинции по образцу столицы; почти все поплатились головой за поползновения к сопротивлению, которые та же забота о собственной безопасности помешала им довести до конца. Они гибли медленно, поодиночке, без блеска для славы своего имени и без пользы для интересов своей партии.

Посреди всеобщего упадка четыре города заслуживают особого упоминания за энергию своей позиции, и мы должны вкратце рассказать о событиях, ареной которых были Лион, Марсель, Бордо и Кан вплоть до 15 июля 1793 года.

Чтобы хорошо понять историю лионского восстания, необходимо вернуться несколько назад. Мы оставили второй город Франции в руках демагогической партии[2], более или менее

тайно покровительствуемой тремя комиссарами Конвента — Ровером, Базиром и Лежандром. Им вскоре наследовали четыре других представителя, одушевлённых тем же духом; то были Дюбуа-Крансе, Готье, Ниош и Альбитт. Официально они были направлены к Альпийской армии; но их власть фактически распространялась на все департаменты, входившие в круг снабжения этой армии. Они прибыли в Лион 12 мая и созвали на следующий день в ратушу все административные органы. Протокол этого собрания удостоверяет, что лионские якобинцы явились туда в большом числе и без всякого мандата заседали вперемешку с конституционными властями департамента, дистрикта и коммуны.

Это собрание постановило:

что в Лионе будет набрана революционная армия в шесть тысяч четыреста человек, разделённая на восемь батальонов, из которых два первых будут направлены в Вандею, а шесть остальных останутся на службе города;

что расходы этой армии будут покрыты принудительным займом в шесть миллионов, взимаемым с капиталистов, собственников и негодяев посредством принудительных ордеров с роковым сроком в двадцать четыре часа;

что будет учреждён Комитет общественного спасения для наблюдения за формированием армии, сбором и употреблением займа.

Кроме того, было решено:

что народное общество, иначе говоря — клуб якобинцев, в награду за важные услуги, оказанные и ежедневно оказываемые им делу свободы, получит новое помещение — церковь миссионеров, — ремонт которой будет отнесён на счёт департамента;

что распространение умеренных листов, в особенности газет Горса и Бриссо, будет запрещено;

что изъятые номера будут немедленно сожжены;

что, наконец, Конвент будет умолять не откладывать далее учреждения в Лионе Революционного трибунала.

Четыре народных представителя своей подписью одобрили эту хартию лионской демагогии[3].

По поводу этого постановления Шалье и его друзья составили формулу новой присяги, которую должны были приносить все граждане, допущенные в ряды революционной армии. Этот документ даёт меру гарантий, которые представляла её организация. Он гласит:

«Клянусь защищать свободу, равенство, единство и неделимость Республики, безопасность лиц и собственности; но также истребить всех тиранов мира и их приспешников, обозначаемых именем аристократов, фельянов, умеренных, эгоистов, скупщиков, ростовщиков, спекулянтов, и всех бесполезных граждан священнической касты, непримиримого врага свободы и покровителя деспотизма и тирании».

С таким оружием торжество Горы казалось обеспеченным, и четыре комиссара Конвента вместе удаляются из Лиона[4]. Тотчас после их отъезда якобинцы принимаются за дело. Комитет, именуемый комитетом общественного спасения, назначенный и руководимый ими, был облечён чрезмерной властью определять посредством прямой реквизиции граждан, призываемых в новую вооружённую силу. Он позаботился поместить в два первых батальона, предназначенных для Вандеи, всех молодых людей, подозреваемых в умеренности; напротив, в батальоны, которым надлежало нести полицейскую службу в городе, он собрал всех истинных санкюлотов, то есть всех людей без роду и племени и без средств к существованию. Равным образом при взимании принудительного займа он применял самые притеснительные меры и не отступал ни перед какими требованиями.

Эти факты были доведены до трибуны Конвента Шассе, который в депутации Роны-и-Луары был вождём умеренной партии. Результатом этого доноса стал декрет от 15 мая, объ-

являвшийся недействительным всякое учреждение революционного трибунала в Лионе и разрешавший каждому гражданину при необходимости противопоставить силе силу.

Это решение несколько не убавило дерзости якобинцев, но вернуло некоторую энергию угнетённым. Большинство секций исповедовало идеи порядка и законности. Доказательством тому стало избрание Жилибера в то время, когда он содержался в тюрьме Шалье и его друзьями[5]. Чтобы воздвигнуть плотину против поднимающегося потока демагогии, секции объявляют себя постоянно действующими и устраивают свой центр в Арсенале. Со своей стороны муниципалитет окружает себя стражей в ратуше.

Столкновение было неизбежно; 29 мая сигнал к нему подал возврат двух комиссаров Конвента. Чтобы достойно отпраздновать прибытие представителей Готье и Ниюша, муниципалитет распорядился об аресте председателя и секретаря двух секций и предписал всем им немедленно разойтись. Собрание секций отвечает на это постановление декларацией о том, что Генеральный совет Коммуны утратил общественное доверие.

При этом известии национальная гвардия, в значительной части державшая сторону секций, собирается вокруг Арсенала; напротив, артиллерийские роты, преданные муниципалитету, располагаются биваком со своими орудиями на площади Терро, готовые защищать ратушу от секционеров. Пока обе стороны наблюдают друг за другом, взвод национальных гвардейцев, направлявшийся к Арсеналу, встречают на пути ружейными выстрелами из ратуши. Секции кричат о западне и отдают приказ атаковать площадь Терро с трёх разных сторон. Из этих трёх колонн две отброшены со значительными потерями; но третья под командой отделочника тканей по имени Мадинье, только что импровизированно назначенного главным командующим, несмотря на очень сильный огонь, проникает до середины площади, захватывает муниципальные пушки, поворачивает их против ратуши и посылает два картечных залпа в её фасад. Большого и не требовалось, чтобы принудить Коммуну и её приверженцев к сдаче. Вступать в переговоры от их имени берётся представитель Готье. Его спешат отвести в Арсенал, куда его коллега Ниюш уже прибыл раньше. Оба отрекаются от подписи, поставленной ими под пресловутым постановлением от 14 мая; оба соглашаются на отстранение Генерального совета Коммуны и признают власть секций.

На следующий день на рассвете Мадинье вступает во владение ратушей, покинутой ночью её защитниками. Первым делом он приказывает арестовать мэра Бертрана и его друга Шалье. Затем победители образуют временный муниципалитет под председательством прежнего мэра Жилибера, и в Конвент отправляются чрезвычайные депутаты с требованием: 1) подтвердить постановления, принятые Генеральным советом департамента в согласии с секциями; 2) отозвать двух народных представителей, которые в столкновении выказали возмутительную пристрастность в пользу демагогов и несут ответственность за пролитую кровь.

Одновременно во всех церквях Лиона совершаются торжественные службы в честь граждан, павших за защиту порядка и свободы. На одной из них конституционный епископ Ламурет произносит в кафедральном соборе Сен-Жан надгробное слово жертвам[6].

Тем временем в Лион приходит известие о событиях 2 июня. Легко понять его действие. Недавно установленные власти объявляют, что не признают более выражением национальной воли собрание, искалеченное проскрипцией тридцати двух его членов. Робер Ленде, посланный в Лион Комитетом общественного спасения, чтобы уничтожить в зародыше эти поползновения к сопротивлению, получает отказ от победителей 29 мая. Вернувшись в Париж, он довольствуется тем, что добивается от Конвента декрета, отдающего под защиту закона и конституционных властей граждан, арестованных в Лионе во время последних беспорядков.

К несчастью, страсти с обеих сторон были разнузданы. Новые местные власти уже не могли остановить ход реакции, и она должна была быть тем более жестокой, что только что пришлось три месяца терпеть грубое угнетение. К тому же роялизм старался протолкнуться под плащом Жиронды. Удивляться этому не приходится. Сопротивление призывает к коали-

ции, и перед лицом крайностей Горы кто мог бы поставить жирондистам в вину, что они приняли поддержку роялистов, чтобы лучше бороться с демагогией?

Член прежнего муниципалитета, Сотемюш, стал первой жертвой тех слепых яростей, которые в наших гражданских смутах поочерёдно пятнали торжество всех партий. Арестованный 29 мая, он только что был освобождён под поручительство, как его узнали в одном кафе и на него набросились секционеры. Спасаясь от них, он, уже раненный, бросается в Рону; враги добивают его камнями. Это происходило 27 июня. Никакого преследования против виновников этого убийства возбуждено не было. Несколько дней спустя департаментское собрание учредилося под именем Народной республиканской комиссии общественного спасения департамента Рона-и-Луара и расположилось в ратуше.

Два члена Конвента, Бирото и Шассе, которым удалось бежать из Парижа и добраться до Лиона, встали во главе движения. Бирото прибыл первым, и по его предложению департаментская комиссия издаёт 4 июля следующее постановление, которое одновременно является её манифестом: «Народ Роны-и-Луары объявляет, что умрёт за сохранение национального представительства республиканского, свободного и полного, но что до восстановления целостности и свободы Конвента он считает несостоявшимися все декреты, принятые после 31 мая, и что он примет меры для общей безопасности».

Первой из этих мер является экспедиция на Сент-Этьен, где находилось десять тысяч совершенно новых ружей. Два народных представителя надзирали в этом городе за изготовлением огнестрельного оружия. Один, Лестерп-Бове, принадлежал к умеренному направлению; другой, Ноэль Пуэнт, состоял в Горе. При приближении лионцев Ноэль Пуэнт скрывается; Лестерп-Бове остаётся на своём посту и своим бездействием как будто одобряет захват ружей[7]. Эта добыча с триумфом доставляется в Лион.

Ошибиться более было нельзя: война была объявлена, и обе стороны энергично к ней готовились. 3 июля Конвент предлагает своим комиссарам при Альпийской армии применить против лионцев все меры принуждения, какие они сочтут уместными и полезными. 12-го он объявляет изменниками отечества Бирото и администраторов, которые созвали или допустили департаментский конгресс, присутствовали или участвовали в его совещаниях. Он предписывает исполнительной власти как можно скорее направить к Лиону вооружённую силу, достаточную для восстановления порядка, предать парижскому Революционному трибуналу вождей восстания и распределить между неимущими и угнетёнными патриотами имущество осуждённых.

Таким образом, конфискации были объявлены заранее, добыча жертв была обещана лионским санкюлотам. Демагогия решительно вооружала пролетариев против тех, кто владел собственностью, и не боялась возбуждать ради своей цели самые гнусные вожеления[8].

Между тем Лион организовывал энергичное сопротивление. Старые укрепления города восстанавливаются; граждане соседних департаментов призываются к общей обороне; депутация народной комиссии отправляется в Семюр, чтобы предложить командование департаментской силой бывшему офицеру Пикардийского полка, некоторое время жившему в Лионе, — Перрену де Преси. Тот соглашается и 14 июля производит смотр национальным гвардейцам города и окрестностей, собравшимся, чтобы отпраздновать годовщину федерации и возобновить клятву верности Республике. Наконец, учреждается трибунал для суда над побеждёнными 29 мая. Его первые преследования направлены против Шалье, вождя демагогической партии, и Риара, одного из командиров вооружённой силы, вставшего на сторону Коммуны[9].

Шалье предстаёт перед судьями 15 июля, и прения, длящиеся двадцать часов, завершаются смертным приговором. На следующий день голова осуждённого падает на площади Терро. Несколько дней спустя Риар также осуждается и казнится.

Всходя на эшафот, Шалье завещал свою месть Горе; это наследство было принято слишком хорошо. Тысячи жертв будут принесены манам того, кто так долго проповедовал истреб-

ление своих политических противников и кто первым был поражён во имя собственных принципов.

## II

Марсель не дожидаясь 2 июня, чтобы высказаться против якобинских учений. Не раз его делегаты появлялись у решётки Собрании, призывая представителей освободиться от тирании трибун и сбросить ярмо Парижской коммуны. Совсем недавно марсельцы изгнали из своих стен двух членов Конвента, Муаза Бейля и Буассе, слишком откровенных покровителей крайней партии. Поэтому при первом известии о государственном перевороте, совершённом против большинства национального представительства, конституционные власти Буш-дю-Рона наперебой провозглашают, что в тот день, когда общественный договор и право народов открыто нарушены, сопротивление угнетению становится святейшим из долгов. Как и в Лионе, здесь стремятся сосредоточить действия и обобщить сопротивление. Центральная комиссия, назначенная секциями, облачается всеми полномочиями; народный трибунал, отменённый декретом Конвента, восстанавливается; всем департаментам предлагается направить к Буржу свои батальоны добровольцев, чтобы оттуда идти на Париж; Пон-Сент-Эспри назначается пунктом сосредоточения национальных гвардий Прованса и Лангедока. Наконец, два представителя, направлявшиеся на Корсику с поручением от Собрании, Бо и Антибуль, арестовываются при проезде и удерживаются в плену[10].

На этот дерзкий вызов Конвент отвечает декретом от 19 июня, который объявляет, что члены так называемого народного трибунала, учреждённого в Марселе, суть убийцы в состоянии мятежа, что они ставят вне закона и что долг добрых граждан — преследовать их. Одновременно он поручает генералу Карто командование войсками, направленными против восстания на Юге. Собрание чувствовало, что нельзя терять ни минуты. План контрреволюционеров состоял в том, чтобы идти на Париж комбинированным движением вместе с армиями Лиона, Нормандии и Вандеи, и было очевидно, что малейший их успех стал бы сигналом к всеобщему восстанию во всей юго-восточной области.

Медлительность марсельцев всё погубила. Их командующий Русселе, вместо того чтобы немедленно соединиться с батальонами левого берега Роны, останавливается в Арле и теряет там драгоценное время на разгон монтаньярской партии. Когда он вновь выступает, департаменту Гар уже угрожает Карто, и вскоре небольшой отряд узнаёт, что нимцы без сопротивления оставили Пон-Сент-Эспри. Обескураженные этой неожиданной изменой, марсельцы отступают до Дюранса. Мы снова встретим их в Авиньоне, когда генерал Карто, завершив последние приготовления, двинется на Марсель. Но уже достигнут важный результат: Лион остаётся изолированным и не может более рассчитывать на помощь, обещанную с Юга.

В Бордо, как и в Марселе, революция 31 мая была встречена взрывом негодования. 6 июня, при первом известии о покушении на его самых прославленных депутатов, Генеральный совет направляет Конвенту угрожающий адрес. Различные местные власти объединяются под именем Народной комиссии общественного спасения департамента Жиронда и объявляют себя действующими постоянно до тех пор, пока, как говорилось в постановлении, с помощью агентов народа из других департаментов национальный Конвент не вернёт себе полную свободу. Во все окрестные края и даже до Лиона и Дижона рассылаются эmissары; но всё ограничивается тщетными манифестами и бесплодными демонстрациями. Ни один батальон, ни одна рота, ни один солдат не вышел из стен Бордо, чтобы двинуться на Бурж, куда должны были стекаться все отряды восставших провинций. Более того, новые конституционные власти покровительствовали отъезду двух народных представителей, Ишона и Дартигойта, арестованных неподалёку от Бордо, которых возбуждённая толпа хотела задержать. Эти власти написали Комитету общественного спасения в Париж, сообщая ему об этом доказательстве великодушия, данном целым городом в тот самый момент, когда он сам был оскорблён незаконным заключением своих самых дорогих представителей. Это письмо, казалось, указывало на оста-

новку в бордоском сопротивлении; оно внушило Комитету мысль предпринять примирительный шаг. Двое его членов, Матьё и Трейяр, были посланы в Жиронду; но эти вестники мира вскоре были вынуждены уступить перед народными выступлениями и удалились в Перигё.

### III

Кальвадос уже давно проявлял жирондистские настроения. За несколько дней до 31 мая Генеральный совет департамента в согласии с властями города и дистрикта постановил создать вооружённую силу для поддержания свободы прений в Собрании и охраны личной безопасности представителей. Девять комиссаров, избранных из Генерального совета, секций и народных обществ, отправились в Париж, чтобы уведомить Конвент об этом постановлении; но эта депутация попала в самую бурю, унёсшую Жиронду, и не была допущена к решётке Собрания. Когда переворот 2 июня совершился, делегаты Кальвадоса поняли, что в Париже им больше делать нечего и что им остаётся лишь отчитаться перед своими доверителями в том, что они видели и слышали. Возвращаясь в Кан, они останавливаются в Эврё, где застают собравшимися власти департамента Эр. Их рассказ о событиях, очевидцами которых они были, возбуждает единодушное негодование; тотчас Совет принимает постановление, призывающее к вооружённому содействию все остальные департаменты, чтобы освободить Париж от тирании узурпаторской партии, и определяющее собственный контингент Эра в четыре тысячи человек.

По возвращении своих комиссаров Кальвадос спешит последовать этому примеру. Административные органы всякого рода, соединившись с народными обществами, объявляют, что не признают более власти Конвента; они распоряжаются об аресте двух народных представителей, Ромма и Приёра (из Кот-д'Ор), находившихся тогда в миссии на побережье Ла-Манша, и назначают генерала Феликса Вимфена главнокомандующим вооружённой силой, которую надлежало двинуть на Париж[11].

В ответ на эти меры Конвент объявляет обвинёнными Вимфена, Бюзо и Барбару и предписывает военному министру принять меры, чтобы сила осталась на стороне закона[12].

Но мало было издать декрет; нужно было его исполнить. А военный министр уведомил Комитет общественного спасения, что в настоящий момент у него нет ни одной свободной части, которую можно было бы послать против нормандских повстанцев. Пришлось лавировать. Комитет собственной властью разрешает военному министру приостановить исполнение приказов Конвента[13]; но под сурдинку торопит набор батальонов, которые должны были выставить Париж и соседние департаменты.

Генеральный совет Коммуны, участвовавший в этой игре, согласует свой язык с языком Комитета. Согласно его постановлению от 1 июля, тысяча восьмьсот человек, которых предстояло двинуть на Нормандию, были предназначены лишь для того, чтобы вернуть туда спокойствие и заставить уважать закон и конституционные власти; они должны были браться с добрыми гражданами, сдерживать злонамеренных, охранять торговое сообщение и подвоз продовольствия. Несмотря на эти лживые заявления, народ Парижа не спешил откликаться на призыв Коммуны и Комитета[14]. 5 июля Реаль, заместитель Шометта, публично упрекал своих сограждан в равнодушии — столь медленно они трогались, когда разбойники, — так он называл нормандских повстанцев, — с оружием шли на Париж. Другой муниципальный чиновник пошёл дальше и потребовал, чтобы Генеральный совет, подавая пример, выступил с ружьём в руке, с ранцем за спиной и с шарфом на шее. Предложение было встречено рукоплесканиями, но не принято[15]. Наконец, сам Пашу должен был вмешаться и написать секциям одно за другим два письма, заклиная их без промедления исполнить реквизиции, обращённые к ним во имя общественного спасения[16].

### IV

Между тем Комитет общественного спасения всё ещё готовил свой доклад о так называемом федералистском заговоре; он обязался сделать его в три дня, а потратил шесть недель. Доказать неопровержимым образом вину побеждённых взялся Сен-Жюст, самый непримиримый

мый враг Жиронды. Двадцать раз переделанная и переработанная, его обвинительная речь была произнесена лишь в тот день, когда Комитет[17] счёл себя в силах действовать силой против мятежников Эра и Кальвадоса. Достоинства этого труда почти не выдают работы, которой он стоил; это бедная, бессвязная и декламационная амплификация; факты в ней не изложены даже с порядком и логикой; талант в ней отсутствует не менее, чем истина[18].

В сущности Сен-Жюст требовал от Конвента:

объявить изменниками отечества Бюзо, Барбару, Горса, Ланжюине, Салля, Луве, Бергоэна, Бирото, Петиона, виновных в том, что бегством уклонились от декрета о своём аресте и разжигали мятеж в департаментах Эр, Кальвадос и Рона-и-Луара;

объявить обвинёнными Жансонне, Гюаде, Верньо, Мольво и Гардьена, подозреваемых в соучастии в тех же заговорах;

вернуть в свою среду Бертрана и других депутатов, более обманутых, нежели виновных.

Собрание не осмелилось немедленно принять эти выводы. Оно голосует за напечатание доклада и откладывает его обсуждение на неопределённое время.

Заседание следующего дня, 9 июля, было отмечено происшествием, которое показывает, какое сопротивление тирания Горы после шести недель угнетения всё ещё встречала справа и какое мужество жирондисты, даже самые безвестные, умели при случае проявить, чтобы утверждать свои мнения и протестовать против проскрипции своих друзей.

Жан Бон Сент-Андре только что доложил о федералистском движении в Монпелье. В этом городе образовался Комитет общественного спасения, вступивший в сговор с мятежными властями Эра, Кальвадоса и Жиронды; его первым актом было предписать всем членам Конвента явиться под стражу в главные города своих департаментов для суда большим национальным жюри.

При чтении этого документа справа раздаются рукоплескания. Возмущённые монпаньяры тотчас покрывают эти дерзкие одобрения ропотом. Шабо бросается к трибуне и, указывая пальцем на скамьи, где сидят смелые одобрители: «Вот, — восклицает он, — заговорщики, продиктовавшие эти губительные для свободы меры. Конвент сурово покарает изменников, которые их приняли; но сможет ли он сделать это справедливо, если не начнёт с наказания тех, кто рукоплещет заговорам? С этих недостойных коллег и надлежит начать очищение... Я требую, чтобы гражданин, который только что рукоплескал и чьёго имени я, к своей чести, не знаю, был отправлен в аббатство».

Обвинённый член поднимается на трибуну; это Куэ, депутат от Вогезов. До этого дня он не брал слова в Собрании и был малоизвестен. «Всякий человек, — говорит он, — вправе выражать своё мнение словом или знаками одобрения или неодобрения. Как представитель народа, я более чем кто-либо вправе выражать своё с величайшей свободой. Итак, я заявляю: моё желание совпадает с тем, что выражено в только что прочитанном постановлении, и во имя народного суверенитета я нахожу справедливым, чтобы депутаты по возвращении в свои департаменты подлежали законному суду своих сограждан. Я превращаю в предложение требование жителей Монпелье и настойчиво, в прямой форме требую, чтобы Конвент принял моё предложение».

«Ложью, — отвечает Лакруа, — Куэ пытается оправдаться: он урезал контрреволюционное положение, которому рукоплескал; он не сказал, что это постановление исходит от Комитета, именующего себя комитетом общественного спасения, который в департаменте Эро притязает один издавать законы для всей Республики. Это постановление, будь оно даже само по себе хорошо, преступно, потому что люди, принявшие его, не имели права его принимать. Замечу, что, когда Комитет общественного спасения представлял проект конституции, действительно предлагалось оставить за первичными собраниями право судить своих депутатов после сессии; но это предложение, поддержанное правой стороной, было решительно оспорено левой, потому что первичные собрания, будучи лишь частью Суверена, не имеют права судить

представителей всей нации. Пренебрежение декретом, которым вы отвергли это предложение, — лишнее преступление со стороны депутата, рукоплескавшего в тот момент, когда вам доносили о Комитете, составленном из контрреволюционеров, вроде тех, что сидят вон там, — оратор указывает на правую сторону, — которые притязают издавать законы от имени нескольких мятежников и не подчиняться законам, изданным от имени всего народа. Вы не должны проявлять слабость перед теми, кто объявляет себя их сообщниками. Я требую, чтобы, ради великого примера, член, который рукоплескал, был отправлен на три дня в аббатство и чтобы декрет был немедленно объявлен ему судебным приставом».

Это предложение принимается и минуту спустя объявляется Куэ. Тот хочет заметить, что декрет не мотивирован; его голос заглушается шумом. Он настаивает; левая требует, чтобы в случае отказа подчиниться он был объявлен обвинённым.

«Ещё раз, председатель, — говорит Куэ, — дайте мне слово!»

«Никаких слов! — ревёт Гора. — Исполнить декрет!»

«Это самая чудовищная тирания», — восклицает Гийомар.

Ропот встречает это мужественное восклицание. Во время этой сцены Куэ покинул своё место. Прежде чем выйти, он ещё пытается говорить, но новые вопли прерывают его. Наконец депутат Вогезов удаляется под топот трибун, гордых своей нетерпимостью и своей верховной властью[19].

## V

Что же происходило тем временем с восстанием в Нормандии? Несмотря на усилия комиссаров, разосланных Эром и Кальвадосом в соседние департаменты, оно распространилось очень мало. Нижняя Сена и Орн не сделали никаких выступлений; власти Ла-Манша сначала, казалось, были расположены присоединиться к движению; но, поставленные перед необходимостью арестовать двух представителей, находившихся в миссии в Шербуре, — Приёра (из Марны) и Лекуэнтра (из Версаля), — они отступили перед этим дерзким шагом. Сам город Кан, где находилась главная квартира мятежников, не проявлял большого рвения; его контингент, пополненный новобранцами из Вира и Байё, не превышал шестисот человек. Эта вялость отчасти объяснялась более чем странным поведением естественных вождей восстания, то есть депутатов, укрывшихся в Кане.

В первые дни июня этих депутатов было девять; к концу месяца их насчитывалось семнадцать[20]. Власти Кальвадоса предоставили им широкое гостеприимство; они были размещены в бывшем здании интендантства и щедро содержались за счёт муниципалитета. Казалось бы, будучи зачинщиками движения, они должны были почитать за честь руководить им и расширять его, образовав нечто вроде Комитета общественного спасения. В то время как одни из них оставались бы в Кане, в самом центре действий, другие должны были бы взять на себя миссию объезжать окрестные департаменты, добиваясь от конституционных властей решительного присоединения, энергичного содействия, многочисленных наборов добровольцев. Вместо того чтобы таким образом разделить задачу, согласно требованиям положения, эти семнадцать депутатов не проявили никакой личной инициативы. Они словно нарочно оставались зрителями событий. Они воздерживались от деятельного и открытого вмешательства в движение, которому хотели, по их словам, оставить его чисто местный и народный характер. Они отрицали за собой право говорить от имени того национального представительства, из среды которого были насильственно вырваны; они не смели прибегнуть к гордой максиме, которую великий Корнель вкладывает в уста Сертория:

Рим уже не в Риме, он весь там, где я.

Одни сочиняли брошюры; другие — песни. Время от времени они присутствовали на совещаниях конституционных органов или ходили на заседания Народного общества, чтобы потягаться в красноречии с местными патриотами. На каждом шагу их останавливали вопросы компетенции и законности, неуместные сомнения. Барбару, ежедневно писавший оставшимся

в Париже друзьям, убеждая их приехать к нему в Кан, сам же первый заявлял в своих письмах, что собрание всех опальных в одном городе никогда не станет собранием, полномочным издавать декреты и именоваться представительством Франции. «Мы не смогли бы, — писал он[21], — образовать власть, которая могла бы существовать лишь в том случае, если бы собралось большинство Конвента, но мы могли бы по крайней мере сообща выработать меры, способные спасти свободу, и придать мнению департаментов новый толчок, представив им большую массу опальных депутатов, преследуемых парижскими тиранами».

Представители, обосновавшиеся в Кане, поощрялись в своей необъяснимой неподвижности, надо сказать, Эгерией Жиронды, г-жой Ролан. Она первая посоветовала им замкнуться под предлогом бескорыстия в воздержании, которое должно было столь пагубно сказаться на делах партии. Из глубины тюрьмы она написала Бюзо письмо, в котором одновременно чувствуются и её глубокая нежность к избранному ею романическому герою, и её личное самоотречение, и её пылкий культ свободы[22]. Быть может, также боязнь подвергнуть опасности столь дорогую ей жизнь незаметно смягчила эту мужественную душу и продиктовала решения, которые во всякое другое время она отвергла бы. Как бы то ни было, Бюзо и его друзья лишь слишком послушно последовали советам г-жи Ролан. Когда федералисты Нормандии и Бретани двинулись на Париж, ни один депутат не встал в ряды добровольцев. Не мужества недоставало жирондистам; не один из них останется бесстрашным перед эшафотом; им недоставало той энергичной последовательности, которая принимает все последствия однажды принятого решения, которая доводит до конца однажды начатое предприятие.

Так прошло пять недель в приготовлениях и колебаниях. Повстанческие власти каждый день торопили Вимфена идти на Париж. Его маленькая армия состояла из трёх батальонов, отлично вооружённых и снаряжённых, выставленных департаментами Иль-и-Вилен, Финистер и Морбиан, из шестисот добровольцев Кальвадоса, равного числа добровольцев Эра и двух-трёхсот кавалеристов из формировавшихся в крае полков, согласившихся служить делу, принятому их генералом.

Вимфен наконец решается на наступательную демонстрацию; сам оставаясь в Кане, он отправляет вперёд с большей частью войск бывшего офицера, графа Жозефа де Пюизе, которого он заставил нормандские и бретонские власти утвердить своим заместителем. Пюизе доходит до Эврё; но там останавливается и настойчиво просит прислать ему подкрепления. К несчастью, легче было призвать ополчение, чем его получить. Вимфен назначает на понедельник 7 июля большой смотр национальной гвардии Кана. Когда войска собраны, генерал проходит перед строем и призывает добровольцев выйти из рядов. Выходят семнадцать человек. Власти пытаются восполнить путём реквизиций это невероятное равнодушие; эта крайняя мера даёт ещё лишь сто тридцать человек. Их немедленно направляют в Эврё. Присоединив их к себе, Пюизе выступает к Паси-сюр-Эр и Вернону.

Оставим его проходить этот короткий переход и посмотрим, каковы были тем временем приготовления Комитета общественного спасения. Они были едва ли более внушительны, чем у федералистов. Кое-как были организованы два парижских батальона и один батальон Сены-и-Уазы; к ним присоединили несколько линейных войск и сильный отряд жандармов. Главнокомандующим экспедиции был весьма безвестный генерал по имени Сефер[23]; вторым командующим — генерал-адъютант Брюн, большой друг Дантона и Камиля Демулена, которому ими было поручено наблюдать одновременно и за ходом операций, и за настроением армии.

Войска сопровождали четыре комиссара Коммуны; два народных представителя, Робер Ленде и Дюруа, облечённые неограниченными полномочиями[24], должны были принимать все меры, каких потребуют обстоятельства. Оба они были монтаньярами, но принадлежали к департаменту Эр, и рассчитывали столько же на их личное влияние для скорейшего умиротворения, сколько и на действие армии, предназначенной усмирить мятежников.

К 13 июля обе армии продвинулись на очень малое расстояние друг от друга. Парижане стояли в Верноне, нормандцы — в Паси-сюр-Эр. Эти два города, расположенные первый в долине Сены, второй в долине Эра, отстоят друг от друга примерно на три лье. На вершине разделяющего их плоскогорья простирается небольшая равнина, окаймлённая двумя лесами, посреди которой возвышается замок Брекур. Это и был важный стратегический пункт; но обе стороны не решались вступить в бой. Наконец, после нескольких передвижений и контрпередвижений и после переговоров, которые ни к чему не приводят, федералисты решаются занять замок Брекур, затем продвигаются до ворот Вернона, где встречают неприятельские аванпосты. Один из гражданских комиссаров, состоявших при жирондистской армии, посылается парламентёром; он поднимает шляпу в знак мира и показывает прокламацию, которую собирается огласить от имени восставших департаментов[25]. Их встречают мушкетным залпом, за которым следует пушечный залп. Картечь срезает ветви ряда яблонь, под которыми стоял биваком авангард нормандских добровольцев. Те готовятся отвечать; но в этот миг возницы федералистской артиллерии, люди, завербованные за деньги по кабакам Кана и Эврё, рубят постромки своих лошадей и разбегаются. Кавалерия пытается их остановить; но сама оказывается увлечённой. Остальной авангард, видя себя покинутым, обращается в бегство и рассеивается по полям. Армия отступает по той самой дороге, по которой шла утром. В этом общем смятении делается несколько пушечных выстрелов, чтобы прикрыть отступление; они вносят беспорядок в ряды парижан, которые и сами поворачивают назад; но те скоро успокаиваются, видя бегущих нормандцев[26]; их батальоны вновь строятся и располагаются лагерем на поле боя. На следующий день, найдя дорогу совершенно свободной, они трубят победу. Она и в самом деле была за ними, ибо их продвижению больше ничто не мешало. В тот же вечер они без единого выстрела вступают в Эврё, который Пюизе только что оставил, отступая к Кальвадосу.

## VI

Известие о том, что пышно именовалось победой при Паси, было встречено Горой с восторгом. Та отпраздновала своё торжество целым рядом мер, в которых соединяются та властная потребность мести, что внушает самые нелепые репрессалии, и та буколическая чувствительность, которой напоказ, по примеру Ж.-Ж. Руссо, щеголяли корифеи демагогии. Один и тот же декрет постановил: 1) что дом Бюзо в Эврё будет срыт и на его месте будет воздвигнута колонна с надписью: «Здесь был приют злодея Бюзо, который, будучи представителем народа, злоумышлял о гибели Республики»; 2) что возвращение свободы в город Эврё будет отпраздновано бракосочетанием шести республиканских девушек с шестью республиканцами; что эти девушки будут выбраны собранием местных старцев и что они получают приданое за счёт национальной казны.

16 июля Робер Ленде и Дюруа с триумфом вступали в Эврё. Город был в оцепенении, многие жители бежали; говорили, что парижская армия потеряла тысячу восемьсот человек и идёт, жаждая мести. Представители успокаивают должностных лиц, вышедших им навстречу, и сообщают, что в рядах победителей не погиб ни один человек[27]. Затем они вывешивают постановление, приглашающее жителей собраться в тот же вечер в кафедральном соборе. Оба комиссара являются туда в восемь часов. Собрание было мрачно и встревожено. Робер Ленде поднимается на кафедру, упрекает своих земляков в преступном поведении, ответственность за которое он, впрочем, старается возложить на нескольких зачинщиков, и, долго продержав слушателей между страхом и надеждой, объявляет им, что город не лишится ни одного из учреждений, которыми пользовался до сего дня. Тотчас грудь расправляется, сердца раскрываются, раздаются рукоплескания, из всех глаз текут слёзы радости и умиления. Успокоенные насчёт своих материальных интересов, жители Эврё не заботятся об остальном: что им теперь до поражения, в котором они потеряли лишь честь и свободу[28]!

Парижская армия оставалась несколько дней в Эврё; продвигаться дальше не решались; ждали известий из Кальвадоса и приказов из Парижа[29]. Тем временем Вимфен поспешил из

Кана в Лизьё. Чтобы снять с себя огромную ответственность, тяготевшую над ним, он созывает в главных зданиях этого города различные части своей маленькой армии и приглашает их обсудить меры, которые надлежит принять в сложившихся обстоятельствах.

Первым опрашивается батальон Морбиана; он прямо заявляет, что хочет разойтись по домам, предоставив каждому департаменту обороняться отдельно, как он сочтёт нужным. Батальоны Иль-и-Вилена и Финистера объявляют о тех же намерениях. После этого оставалось лишь очистить Лизьё: Вимфен и спешит это сделать. При этих известиях Центральный комитет сопротивления решает перенести свою деятельность в Ренн и предлагает федералистским батальонам возвратиться в свои департаменты.

Оставшиеся в одиночестве администраторы Кальвадоса поспешно изъявляют покорность. Торжественно освобождаются два представителя, арестованные с 10 июня, Ромм и Приёр (из Кот-д'Ор). Первичные собрания, созданные в большой спешке, с восторгом принимают Конституцию; все разоружаются, и вскоре не остаётся и следа мятежа. Что касается депутатов, поставленных вне закона и покинутых всеми, то они просят гостеприимства у батальона Финистера и покидают Кан в одолженной военной одежде, решившись проходить этапами длинное расстояние, отделяющее их от Кемпера, ибо только там они надеются найти убежище. Кервелеган, уехавший вперёд, поручился за своих друзей из Финистера.

Но дурные вести идут быстрее, чем войска на марше. Жирондистских депутатов опережает в Бретани известие о покорности Нормандии. По прибытии они не находят уже ни одного войскового отряда, чтобы их защитить, ни одного центра сопротивления, чтобы их принять, и вынуждены скрываться до тех пор, пока, неустанно преследуемые, они не возобновят свою тяжкую одиссею[30]. Эшафот или самоубийство ожидали большинство из них в конце пути.

Таков был конец нормандского восстания. Никогда более громкое взятие за оружие не оканчивалось более жалким образом; никогда паника авангарда не имела столь тяжёлых последствий. Разгром при Паси имел огромный отклик по всей Франции; он деморализовал партию Жиронды и одним ударом обеспечил торжество Горы.

В то время как восстание в Нормандии было так легко и быстро подавлено, восстание в Вандее оказывало Конвенту самое долгое и самое славное сопротивление. Перед этим контрастом историк обязан задаться вопросом, почему на западе крестьяне, вооружённые вилами и кольями, толпами бросаются в жерла пушек; почему на севере редкие добровольцы, с трудом набранные, разбегаются при первом артиллерийском залпе, просвистевшем над головой; почему одни в тех бесконечных битвах гигантов, о которых говорит Наполеон, заставляют отступать самые дисциплинированные войска и самых закалённых солдат; почему другие при первой же встрече отказываются продолжать борьбу, которая даже не была начата. Различия характеров, медлительность приготовлений, раздоры жирондистов, обвинения в федерализме, выдвинутые против них, поочерёдно приводились для объяснения неудачи нормандской армии. Всё это верно, но над всем этим господствует причина более общая и более высокая. Чтобы проникнуть в массы, нужны идеи великие и простые; благородные или порочные, они толкают к самоотвержению или к преступлению, но только они порождают движение и жизнь. Между тем распря между монтаньярами и жирондистами была в глазах большинства лишь борьбой личностей. Обе партии одинаково развёртывали знамя Республики и, казалось, расходились лишь во второстепенных деталях. Что было населению Нормандии до того, происходит ли эта Республика от Афин или от Спарты, принимает ли она как религиозный догмат скептицизм Вольтера или деизм Руссо? Совсем иными — гораздо более жгучими и глубокими — были вопросы, поднимавшие жителей Вандеи. Для них речь шла о том, будет ли упразднена религия их отцов, будет ли отнят у них почитаемый ими священник, будут ли церкви, воздвигнутые благочестием минувших веков, осквернены обрядами тех незваных пришельцев, которых ненавистный режим хотел им навязать.

Вера, передвигающая горы, воодушевление, рождающее героев, вооружали все руки и воспламеняли все сердца на берегах Севра и Луары. Была ли хоть искра этой веры, этого воодушевления в маленьком отряде, который с такими усилиями и столь малым успехом на вербовали повстанческие власти Эра и Кальвадоса?

## Примечания:

[1] «Магомет», действие II, сцена V.

[2] Том VI, книга XXX, § I.

[3] См. в «Histoire parlementaire» гг. Бюше и Ру, том XXVII, с. 414, сам текст этого постановления, насчитывающего не менее двадцати девяти статей.

[4] Они уезжают, загоняют насмерть одну из лучших артиллерийских лошадей и предоставляют Комитету общественного спасения заботу вести с ними ежедневную переписку. («Journal de Lyon», № от 4 июня 1793 г.)

[5] Том VI, книга XXX, § II.

[6] Демагоги не простили Ламурету того, что он столь блистательно высказался против них. После осады Лиона он был арестован, доставлен в Париж, предан Революционному трибуналу, осуждён и казнён. Он значится в общем списке гильотинированных под № 289 и под датой 22 нивоза II года (11 января 1794 г.).

В конце этого тома мы приводим допрос, которому Ламурет подвергся за несколько дней до явки в Революционный трибунал.

[7] Лестерп-Бове был назначен ещё 30 мая в миссию в Сент-Этьен; но выехал из Парижа лишь 5 июня, успев присутствовать при падении жирондистов и подписав протест, составленный депутатами Верхней Вьенны (том VII, с. 553). Вскоре после экспедиции лионцев на Сент-Этьен он был отозван, предан Революционному трибуналу и приговорён к смерти 31 октября 1793 г. В конце этого тома мы приводим несколько документов, относящихся к этому малоизвестному эпизоду лионского восстания.

[8] «Moniteur», № 195 и 196.

[9] «Moniteur», заседания 11 и 12 июля 1793 г.

[10] Эти два народных представителя были арестованы по дороге из Экса в Тулон и доставлены в Марсель, где оставались в заключении до взятия города Карто 25 августа. Они подверглись поочерёдно (24 и 25 июня) перед комиссарами секций и в присутствии огромной толпы слушателей допросу о том, что происходило в Париже 31 мая и в последующие дни. Их ответы, должно быть, сильно различались: Бо был из Горы; Антибуль принадлежал к умеренной партии. Копия допроса последнего была после покорения Марселя направлена в Комитеты общей безопасности и общественного спасения, которые по рассмотрении этих документов предложили отозвать Антибуля на заседании 27 сентября 1793 г. Жан Бон Сент-Андре пошёл дальше: он потребовал немедленного ареста Антибуля, который, по его словам, унизил своё звание народного представителя, подчинившись незаконной и позорной процедуре. Это предложение было принято. Антибуль был отправлен под надёжным конвоем в Париж вновь водворённой в Марселе якобинской муниципалитетом. Ему не пришлось долго томиться в тюрьме. Прибыв 30 сентября, он был включён в доклад Амара от 3 октября, предан Революционному трибуналу, приговорён к смерти 30 октября вместе с другими жирондистами и казнён 31-го. В конце этого тома читатель найдёт наиболее интересные места из весьма длинного допроса, которому подвергли Антибуля контрреволюционные власти Марселя.

Допрос Бо нам разыскать не удалось; но в речи, произнесённой им на заседании 7 плювиоза III года, он сообщает некоторые подробности о своём пленении. Считаю полезным привести её читателю. (Переиздание «Moniteur», т. XVII, с. 528.)

«Я не стану говорить о том, каким образом был арестован. Меня взяли по дороге в Тулон и оттуда доставили в Марсель.

Коммуна приняла меня сначала как человека, которому не в чем себя упрекнуть; но когда я сказал, что я представитель народа, мне заявили, что национальное представительство более не признают. Меня поместили в комнате Коммуны, где мне было хуже, чем в темнице; муницип

ципалитет пришёл сказать мне, что народ Марселя желает получить сведения о том, что происходит в Париже. Я ответил, что ничего не скажу, пока не увижу своего коллегу Антибуля. Антибуль был допрошен отдельно, а на следующий день я предстал не перед уголовным трибуналом, а перед конституционными властями в сопровождении огромной толпы народа. Когда я заболел, я просил отправить меня в госпиталь к моим братьям или посадить в темницу, чтобы укрыться от летней жары. Мои просьбы не были удовлетворены.

Что касается тех, кто меня оскорблял, я их не знаю. Знаю только, что это были члены Наблюдательного комитета и некоторые муниципальные чиновники.

Когда в Марселе начался страх, армия Карто была ещё в трёх лье. Тюремщик пришёл сказать мне, что я могу выйти; сам часовой отдал мне оружие. Карто вступил в город около шести часов вечера. Я уже занимался лишь продовольствием армии, а главные виновные, которые, как уверяли, были членами Учредительного собрания, и председатель Народного трибунала уже бежали. Не знаю, судили ли всех виновных, но те, кто остался в Марселе, были судимы. Что до меня, я просил бы, чтобы Комитеты общественного спасения и общей безопасности приняли меры для примирения всех партий и полного умиротворения».

[11] Генерал Вимфен был уроженцем Байё. Он представлял дворянство этого города в Учредительном собрании и только что отличился обороной Тьонвиля от австрийцев и эмигрантов; незадолго до этого он прибыл в Кальвадос, чтобы командовать так называемой армией берегов Шербура, формирование которой Конвент декретировал, но которая в действительности существовала пока лишь на бумаге.

Некоторое время он старался сохранять видимость нейтралитета между требованиями властей Кальвадоса и предписаниями Комитета общественного спасения; но ему пришлось сделать выбор, когда его вызвали в Париж на основании постановления, найденного нами в реестрах этого Комитета и гласившего следующее:

Заседание 19 июня, вечером.

Комитет, принимая во внимание, что важно получить сведения о состоянии края, военные силы которого вверены генералу Вимфену, и что эти сведения тем более настоятельны, что политическое положение этого края внушает опасения, постановляет, что военному министру поручается вызвать в Париж генерала Феликса Вимфена для совещания с Комитетом общественного спасения.

Вимфен остерегся подчиниться этому приглашению, слишком хорошо предвидя ожидавшую его участь. Он написал Бушотту следующее письмо, которое было настоящим объявлением войны.

Феликс Вимфен, главнокомандующий армией берегов Шербура, гражданину Бушотту, военному министру.

22 июня 1793 г., в Кане.

Весьма легко устроить новый театр военных действий; но ещё легче сохранить мир.

Пусть Комитет общественного спасения добьётся отмены декретов против администраторов различных департаментов, а также декретов, вызвавших восстание.

Помните, что Кальвадос силён тремя другими департаментами и всей бывшей Бретанью, Центральный комитет которой учреждается в Кане для сохранения Республики единой и неделимой.

Взгляните на народ в брожении и на благоразумных людей, употребляющих все средства, чтобы его успокоить.

Взгляните же на департаменты и увидите то, что вы так часто видели в Париже.

Но если Комитет и Конвент будут упорствовать, глядя наыворот, им следует ожидать великих бедствий; ибо природе свойственно становиться в оборону, **ДАЖЕ В НАСТУПЛЕНИЕ**, когда видишь, что на тебя нападают; а генерал мог бы совершить путешествие в Париж не иначе как в сопровождении шестидесяти тысяч человек; требуете ли вы этого от него?

Генерал ФЕЛИКС ВИМФЕН.

К этому письму была приложена записка без подписи, но писанная рукой Вимфена; она содержала лишь следующие слова:

Ради Бога, отмените декреты; пришлите сюда человека, который не был бы здесь ненавистен. Оставайтесь спокойны и предоставьте действовать мне.

«Moniteur», № 180, а вслед за ним «Histoire parlementaire», том XXVIII, с. 203, приводят это письмо почти полностью. Однако их версия имеет некоторые разночтения с найденным нами подлинным текстом.

[12] Власти Кальвадоса направили Конвенту следующую дерзкую расписку в получении: Кан, 28 июня 1793 г., 2-го года Республики единой и неделимой.

Заместитель генерального прокурора-синдика департамента Кальвадос министру юстиции.

## **Конец ознакомительного фрагмента.**

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.